

14
ЗВЕЗДА

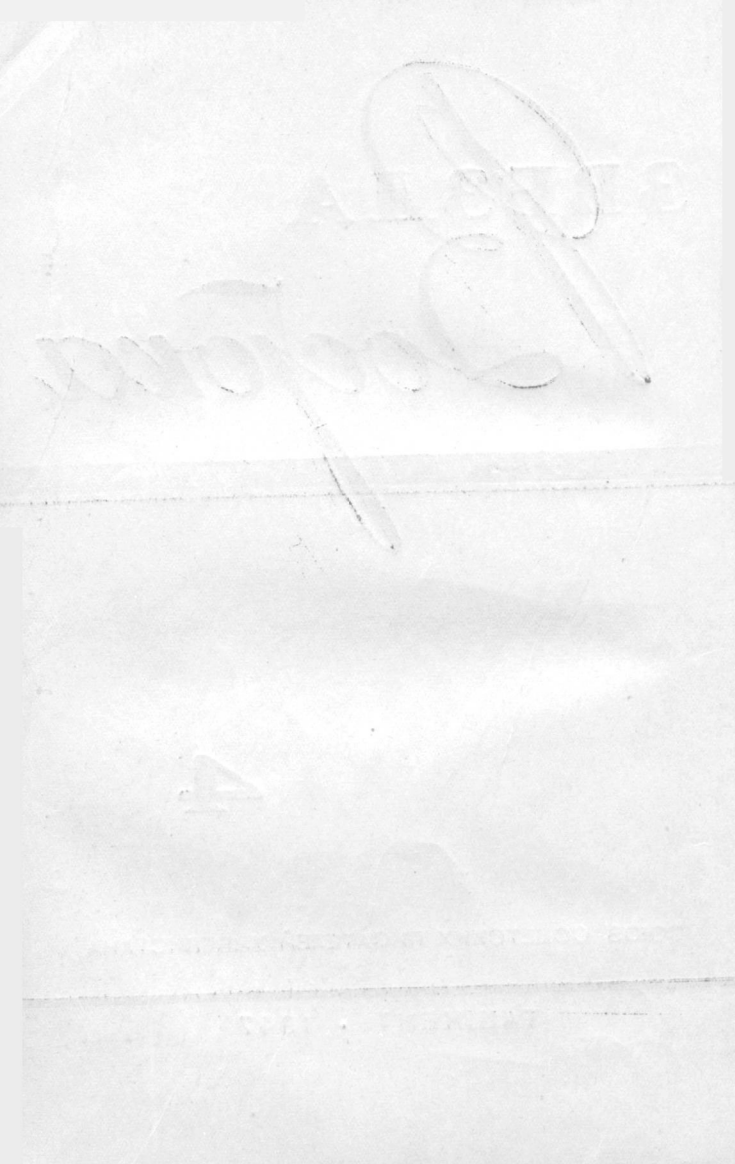
Востока



4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ • 1947



ЗВЕЗДА Востока

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К И Й
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

№ 4 Объединенное изд-во „Правда Востока и „Кзыл Узбекистан“ 1947

СОДЫК КАЛАЧДАР

МЫ НА УРАЛЕ

Повесть

Продолжение

VII

После смерти Умара Оля Протасова стала молчаливой, сосредоточенной. Даже внешне она сделалась совсем другая: похудевшая, осунувшаяся, с маленьким, острым подбородком и внимательным, спокойным, проникновенным взглядом.

Первое время она даже перестала посещать драмкружок, хотя мать, Туфахон, подруги и все члены кружка убеждали ее вернуться в него. Потом она сама почувствовала, что сейчас кружок необходим ей еще более, чем когда бы то ни было, и что без него она чувствует себя духовно гораздо беднее и сиротливее. Но вернувшись в драмкружок, она стала подсознательно выбирать для себя глубокие, внутренние насыщенные роли, которые она вела на сцене так же естественно и просто, как раньше играла веселых, капризных и смешливых девушек.

Именно в этот период, в дни большого горя, вызванного смертью Умара, в жизни Оли Протасовой произошло важное и, как она осознала это лишь некоторое время спустя, радостное событие, которое осветило ее душу до самых глубин и тайников, надолго оставив в ее сердце чистый, негаснущий след, и сумело в те дни утишить ее боль, смягчить ее первое большое горе. Она стала дружить с Туфахон, и дружба эта с каждым днем становилась все глубже и глубже.

¹ См. „Звезда Востока“ № 10-11 и 12—1946 г.; № 1, 2-3—1947 г.

Дружба завязалась между ними просто и, естественно. Быть может, это случилось в тот час, когда Оля с сухими, не заплаканными глазами шла позади катафалка за гробом, и Туфахон молча, не говоря ни слова, вела ее под руку. Или чуть-чуть позже, когда Туфахон, все так же держа ее под руку, увела Олю от того места, где под двумя высокими соснами тесно стояли люди, обнажив головы, и они обе долго ходили узкими кладбищенскими дорожками, и Туфахон рассказала ей о своей любви к Ботыру, о том, как она приехала на Урал, как жила теперь только одними письмами и надеждой встретиться с ним, и как она с каждым днем все больше и больше начинает бояться, что эта надежда не оправдается и что-нибудь с ним случится.

— Я так этого боюсь... Оля, если б вы знали, — взволнованно и тихо говорила Туфахон, и глаза ее уже несколько раз наполнялись слезами. — Да, я боюсь этого, — повторила она. — Но все-таки нельзя... нельзя, да и не хочу я опускать рук перед бедой... Надо сказать своему сердцу, сказать, знаете... так...

Они остановились. Туфахон взяла Олю за обе руки и, глядя повлажневшими сверкающими глазами в ее лицо, немного помедлив, сказала:

— Сердце, ты молодо, в тебе много силы, и ты должно быть крепким, как сердце воина. Впереди еще много борьбы, но ты должно ее выдержать, чтоб увидеть счастье народа, счастье Родины, счастье Победы.

Слабо улыбаясь, Оля молча, с благодарностью глядела на нее.

Было радостно видеть, как эти две девушки, внешне такие различные, — одна смуглая, с черными длинными косами и сильными, изогнутыми бровями, а другая тонкая, бледная с густыми золотистыми волосами, стали с тех пор всегда появляться вместе на улице, в клубе, в театре, в сосновом бору за городом, иногда с книгой в руках, иногда просто с семечками в кармане. С тех пор они уже больше не могли жить друг без друга, а когда случилось, что Туфахон, работая на заводе по две смены, не могла выбрать времени сбегать к подруге, Оля еще с вечера приходила к Серафиме Ильиничне и ждала, пока придет Туфахон, сначала разговаривая с хозяйкой, а затем читая книгу. И когда Туфахон приходила с работы усталая, со смежавшимися от сна глазами, они, ни о чем не разговаривая, обе молча ложились в постель и тотчас же засыпали. Когда же пришло лето, они часто стали бывать за городом, в сосновом бору. Туфахон вспоминала Узбекистан, мать, отца, родной колхоз. Она даже рассказала Олечке о Кодыр-али, о том, как он хотел во что бы то ни стало заставить ее выйти за него замуж, о том, как однажды у ней мелькнуло подозрение, что он задерживал письма Ботыра.

— Есть такие люди, — сказала Оля. — Где он теперь, этот Кодыр-али?

— Не знаю. Был дома, когда я уезжала. А теперь не знаю! Может быть, тоже в армию взяли. Мне ничего про него не пишут из дому.

У них не было друг перед другом нераскрытых тайников души, не было секретов, которыми они не могли бы поделиться. У них никогда не иссякали темы для разговора, и чем больше они дружили, тем все больше накапливалось в душе всяких чувств, мыслей и воспоминаний, которые хотелось высказать, поделиться ими.

Дружа с Туфахон, Оля вновь стала как бы сама собой: прежний румянец покрыл ее щеки, подбородок округлился, голос стал звонким, на лице все чаще появлялась улыбка. Даже в драмкружке она снова стала брать те же роли, которые так весело и бездумно выбирала себе раньше и которые действительно были написаны будто нарочно для нее, хотя теперь с таким же успехом она могла показать на сцене совершенно других людей. Все, кто видел ее в драмкружке, на сцене клуба, и сами родители, и Туфахон, все чувствовали, что в ней было что-то настоящее от искусства, от истинного вдохновения, и советовали ей развить свое дарование на этом поприще. Она и сама мечтала в будущем году подать заявление в Институт Театрального Искусства и не раз говорила об этом Туфахон. Иногда, размечтавшись, они подолгу беседовали об этом, сидя где-нибудь на зеленой траве в сосновом бору.

— Это такое счастье... Такое счастье, Туфочка, выступить на сцене какого-нибудь большого театра в Москве и через какую-нибудь героиню пьесы показать людям, какое у них большое и доброе сердце, какая глубокая душа, какое внутреннее богатство... Показать им, непоколебимо утвердить их уверенность в том, что с такой силой, с таким богатством советский человек будет жить вечно, и ни один враг никогда его не сломит,—говорила она с сияющими глазами.

И Туфахон верила ей, верила, что она сумеет это показать. Оля учила ее русскому языку, математике, и Туфахон тоже мечтала поступить в институт.

Так они дружили и мечтали о счастье.

Время шло. Миновало лето. Задули с севера холодные ветры, полетели с деревьев листья, подошла осень.

Как-то раз, сидя с Олей за уроком русского языка, Туфахон вдруг замолчала, и черные большие глаза ее быстро наполнились слезами. Она отодвинула учебник в сторону и тихо сказала:

— Не спрашивай меня сегодня. Ладно?

— Почему?

— Так... Не спрашивай.

Но разве могла Оля отстать и успокоиться, когда в глазах Туфахон стояли слезы, и разве могла Туфахон стерпеть, не рассказать, почему так тяжело у нее на сердце.

Ведь шел уже второй год, как она рассталась с Ботыром, а писем опять уже давно не было. Последнее письмо она получила от него месяца полтора тому назад, когда Ботыр писал, что он едет в Сталинград. И с тех пор не было ни строчки. К тому же вспомнились старики. Скоро должен был уж исполниться год, как Туфахон приехала в Свердловск. Как-то там жили теперь мать, отец? У матери, должно быть, глаза выцвели от слез. Увидеть бы

ее, прижаться к ней, спрятать голову у нее на коленях, как бывало в детстве...

В середине октября обеих подруг вызвали в райком партии в Березину. Они пришли недоумевающие, немного растерянные и смущенные. Березин принял девушек радостный, чем-то возбужденный. Он ласково усадил их рядышком на диван. В глубоких креслах по бокам стола сидели мастер-сталевар Илья Федорович Ковшов и его подручный Шодмон-палван, который вот уже полгода работал в мартеновском цехе завода, куда был переведен по своей просьбе из фронтовой строительной бригады Мустафы Ризаева. Туфахон вопросительно взглядывала то на Шодмон-палвана, то на Олю, то на самого Березина, крупно шагавшего по кабинету. Засыпав девушек первыми, ничего незначащими вопросами, на которые они отвечали просто и бездумно, Березин затем с минуту помолчал, расхаживая по кабинету, и вдруг весело остановился перед ними, широко расставив ноги, заложив за спину руки и слегка наклонившись вперед.

— Ну? Так говорите, нет ничего нового? — громко спросил он их, подрагивая краешками прищуренных улыбающихся глаз.

— Нет, — невольно улыбаясь и глядя на него, ответила Туфахон.

— А писем из дому тоже давно не получали? — продолжал Березин, обращаясь уже только к Туфахон. — И не знаете, как живет ваш колхоз? И как старички ваши живут?!

— Давно не получала. Не знаю, что там теперь, — ответила Туфахон, и легкая тень грусти упала ей на лицо.

Березин опять секунду помолчал и вдруг спросил еще громче и веселее:

— Ну, так значит, — хотелось бы домой съездить на побывку?.. А? Повидаться со старичками?..

Туфахон вдруг так сильно покраснела, что даже глаза ей чуть-чуть защипало.

— Хотелось бы, — произнесла она едва слышно, внезапно почувствовав страшную сухость во рту. — Очень даже хотелось бы, — повторила она громче секунду спустя.

— Так вот, значит, поедете, — уже серьезнее сказал Березин и, отойдя от них, сел за стол. — Поедете к себе домой, на побывку, товарищ Норматова. — Он достал из коробки папиросу, предложил Ковшову, Шодмон-палвану и, закулив и немного опять помолчав, заговорил спокойным и ровным голосом:

— Мы получили письмо из Узбекистана. Просят послать к ним группу гостей. С этого завода поедете вы, товарищ Норматова, а чтоб не разлучать вас с подругой, поезжайте вместе с Олей Протасовой; покажите ей, как собирают хлопок, рис, покажите ей ваши знаменитые стройки в Узбекистане, каналы. Вместе с вами поедут наши мартеновцы — товарищ Ковшов и Шодмон-палван — и еще два человека. Собраться нужно быстро. Послезавтра вечером выезжать. Вот для этого я вас и вызвал. — Он окинул всех взглядом и улыбнувшись продолжал: — Время для поездки, пожалуй, самое интересное. Сейчас разгар сбора хлопка. Еще тепло. Вино-

града, дынь, арбузов много. Да что говорить, вас встретят там на славу. Я даже завидую вам. Впрочем, может быть, еще и я с вами поеду. Посмотрим, как разрешится завтра этот вопрос. Так что же, довольны?— спросил он под конец.

— Довольны,— смущенно и тихо ответила Туфахон, снова краснея.

— Еще бы,— отозвался Шодмон-палван и, повернувшись к Туфахон, что-то сказал ей по-узбекски и потом рассмеялся.

— Что он говорит?— с улыбкой спросил Березин.

— Говорит, что мы теперь стали люди заводов, отвыкли собирать хлопок, а у них теперь там самый разгар. Но мы ведь, дескать, приедем, как гости, так вот и пускай, говорит, они нас угощают: будем сидеть, плов, дыни есть да чай пить.

— Вы только покажитесь там, так вам пешком ходить не дадут. На руках носить будут,— сказал Березин.— Советский народ любит чествовать своих тружеников. А особенно земляков.

Туфахон вышла от Березина с чувством огромной радости. Это чувство сейчас так переполнило ее душу, что она не могла ничего сказать, и несколько минут они шли с Олей по улице молча.

— Олечка, какое счастье!— вырвалось у ней наконец, и она, больше не в силах сдерживать себя, так сильно сдавила ее в своих объятиях, что Оля секунду не могла перевести дыхание.— Ты пойми, ведь мы поедем вместе с тобой. Ты увидишь мою маму, увидишь, какая она хорошая. Мама будет нас угощать виноградом, варить для нас плов. А потом мы поедем с тобой на Большой Ферганский канал!.. В Ташкент поедем!

До поздней ночи они сидели в комнате у Серафимы Ильиничны за пологом и, перебивая друг друга, восторженно о чем-то мечтали.

Весь следующий день Туфахон работала в каком-то розовом чаду. Лицо ее горело. Она часто невпопад отвечала Ивану Павловичу на его вопросы или, задумываясь, внимательно глядя под резец, совсем не слышала его голоса. Это был последний день ее работы в цеху перед отъездом. Вечером они вместе с Олей и несколькими товарищами-узбеками, которым предстояло ехать в Узбекистан, должны были пойти в один из крупных военных госпиталей, чтобы навестить и побеседовать с ранеными, узнать, нет ли там земляков-узбекистанцев, у которых наверное найдется просьба: зайти к родным, передать привет, а затем, по возвращении, рассказать о них— как живут, работают, помогают фронту. Каждому солдату будет приятно, конечно, услышать весточку о доме, о родных, о любимых с детства местах. Мысль эту,— побывать перед отъездом в госпитале, побеседовать с солдатами и выслушать их просьбу, подал Шодмон-палван у Березина в кабинете, и все участники отъезжающей в Узбекистан делегации и сам Березин с радостью поддерживали его. Посещение это они решили провести организованно: тотчас же после ужина собраться всем в

заводском клубе, к семи часам вечера, а уже оттуда идти в госпиталь.

Первыми пришли в клуб Оля и Туфяхон. Обе они были радостно возбуждены, слегка бледны от волнения и празднично одеты.

— У тебя что в свертке?— спросила Оля, едва они вошли в освещенный клуб и сели на заднюю скамью.

— Ой, ты знаешь, Олечка, у меня так мало. Всего две банки вишневого варенья и пачка сливочного печенья. Я как-то давно получила в нашем магазине и вот все берегла. Думаю, пригодится, пусть стоит. Вот и правда, пригодилось.

— Мы будто бы с тобой сговорились. У меня то же самое,— смеясь, сказала Оля.

Она осторожно выпростала сверток из-под руки и бережно положила его на скамью, рядом с собой.

— Только я еще папирос и махорки взяла с собой, может быть им врачи не дают и не разрешают курить, так я взяла,— добавила она таинственно-пониженным голосом и кивнула головой, закусив при этом нижнюю губу и весело моргнув обоими глазами.

— Это ты хорошо сделала. А я не взяла. Не догадалась,— смущенно призналась Туфяхон.

— Так мы, давай, знаешь что сделаем? Папиросы и махорку положим поровну в оба свертка. И в твой и в мой. Очень хорошо, давай,— сказала она еще оживленнее,— они там все равно будут сами угощать друг друга, только ведь ты, может быть, войдешь в одну палату, а я в другую.

— Нет, мы вместе войдем. В одну палату,— почему-то вдруг грустно сказала Туфяхон, глядя, как Оля поспешно разворачивает желтую хрустящую бумагу.

— Ну, хорошо, вместе,— охотно согласилась она, затем взглянула на Туфяхон, и они с минуту больше ни о чем не говорили, молча раскладывая по сверткам пачки папирос и махорку.

Едва они кончили это занятие, как в клуб вошла высокая стройная девушка. Завидев ее, Туфяхон тотчас же поднялась ей навстречу.

— Салом! Зайнаб-апа, салом!— на родном языке приветствовала ее Туфяхон, по узбекскому обычаю легко обнимая ее за плечи и чуть-чуть привлекая к себе.— Хорошо ли вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? Значит, едем вместе?— все больше оживляясь, спрашивала Туфяхон.

— Вместе? Вы тоже едете?— говорила Зайнаб.— Мы просто с вами родились в рубашке. Ведь это счастье! Это настоящее счастье, поехать сейчас в Узбекистан, в такое трудное, ответственное время.

— Да, это счастье. Мы действительно родились с вами в рубашке.

— Еще бы!

Зайнаб говорила без улыбки и, как всегда, была сдержанна. Она лишь несколько раз приветливо посмотрела на Олю и, нако-

нец, почувствовав смущение от того, что Туфахон, увлекшись разговором с нею, забыла про подругу, спросила ее все так же на родном языке:

— Это Оля Протасова? Говорят, очень хорошая девушка. Вы познакомьте нас.

Туфахон всполошилась, стала извиняться перед Олей, что оставила ее без внимания.

— Так значит мы едем вместе?— спросила Оля, когда они все трое сели на скамейку.

— Я рассказывала тебе, как мы ехали сюда и как я очень боялась, чтобы начальник эшелона не снял меня с поезда?— говорила Туфахон, с улыбкой глядя на свою подругу.— Помнишь, я рассказывала?

— Помню,— сказала Оля.

— Так вот Зайнаб... Это она уговорила его, чтобы он не будил меня и не снимал с поезда. А я лежала, слушала и все время дрожала, пока он не ушел. Ну, думаю себе, ведь не послушает он ее. Сейчас подойдет, возьмет за рукав и отведет в милицию.

Они все трое громко засмеялись, не слыша, как в это время вошел Березин и остановился позади них, за скамьей.

— Кого это здесь в милицию? — нарочито густым басом спросил Березин, когда они, заметив его, все разом оглянулись.

Девушки снова засмеялись и стали просить, чтобы он сел рядом с ними.

— Нет, прежде скажите, вы едете с нами?— спросила Оля.

— Еду.

Они восторженно подпрыгнули, завизжали, захлопали в ладоши и стали, как дети, обнимать его, тормошить, усаживая рядом с собой.

— Так подождите, девушки. Время-то ведь уже восьмой час, — сказал Березин серьезно, когда они, посмеявшись и пошутив, усадили его рядом с собой. — Кто же у нас еще должен прийти?

— Товарищ Ковшов, Шодмон-палван...

— Сталевары. Самая что ни на есть сила наша, гордость. Где же они так задержались?

Девушки молчали, видимо, не зная, какое высказать предположение.

— А времени-то ведь уже половина восьмого. Не должны бы они так задержаться, — еще заметнее посерьезнев, сказал Березин. — А ну-ка, девушки, кто из вас помоложе, пусть сбегает в общежитие, где живет Шодмон-палван. Здесь ведь недалеко.

Оля и Туфахон вскочили вместе. Они переглянулись и молча друг другу улыбнулись.

— Ну что ж, бегите вместе, — сказал Березин, угадав их желание.

Они убежали и минут через десять уже вернулись назад, запыхавшиеся от бега.

— Нет, — сказали они. — Говорят, с работы еще не возвращался.

— Тогда вот что. Дойдемте все вместе до ворот; вы посидите в проходной, а я схожу в цех.

Они поднялись и молча вышли из клуба.

VIII

Когда в Свердловск прибыло известие, что в Узбекистане строится первый в республике металлургический завод, и в рабочих бараках, где жили трудармейцы, появились газеты с портретами рабочих строителей, а среди трудармейцев, особенно узбеков, почти каждый вечер стали разгораться на эту тему оживленные разговоры, Шодмон-палван, обдумывавший в эти дни свою жизнь, твердо решил стать сталеваром.

Он много слышал, и больше всего здесь, на Урале, об этих особенных людях, которые так же любили свою профессию и гордились ею, как гордятся шахтеры, моряки, авиаторы. Первое время он, как юноша, которого одновременно манит и море и театр, и военное училище и который не может определить сразу, что в нем сильнее всего и на что ему надо решиться, долго мучился, не спал по ночам, крепко задумываясь над тем, вернуться ли ему после войны обратно в колхоз и продолжать прежнюю жизнь, или сделать в своей судьбе крутой поворот и прийти на этот металлургический завод в Беговате... Молодому человеку, когда он уже ясно видит свои дороги, легче бывает решить, по какой именно ему идти, потому что в нем не живет прошлое, и он только впервые выходит на дорогу, и вся она у него в будущем, и ничто его не держит. А Шодмон-палван не был юношей, он был уже семейным человеком лет тридцати шести, с достаточным жизненным опытом, видевшим в жизни и плохое и хорошее. Будь он помоложе и несемейным человеком, Шодмон-палван, может быть, и не думал бы так долго. Но он не мог сказать, как отнесется к этому семья. Скорей всего, родные будут уговаривать его остаться в колхозе, а послушать их, имея за плечами чудесную специальность сталевара, он не может. Поэтому нужно было все решить сейчас.

Ему вспоминался и крепкий вяжущий дух распаханной весной земли, и цвет хлопкового поля, и широкие, синие просторы до самого горизонта, и веселые песни под бубен возвращающихся с работы колхозниц, и со всем этим было жаль расставаться. Ему казалось, что его так и будет всю жизнь потом тянуть обратно в колхоз, в поле.

Но когда он думал о работе сталеваров, сб их интересной, волнующей и сильной жизни, вспоминал письма, в которых фронтовики-танкисты благодарили сталеваров за отличную сталь, когда думал о том, что сейчас в Узбекистане строится металлургический завод, которому нужны будут хорошие сталевары, он готов был вскочить с постели и немедленно написать заявление о перево-

де его из бригады строителей в мартеновский цех подручным сталевара.

Он сделал это тотчас же после того, как однажды в клубе с ними — лучшими стахановцами-узбеками провели беседу о том, что они должны подготовить из своей среды хороших специалистов для узбекского металлургического завода, своего первенца. Шодмон-палван написал заявление там же, в клубе, и даже пожалел, что не сделал этого раньше. Вот в эту-то именно минуту он твердо решил стать сталеваром.

Вслед за ним подали заявление о переводе в мартеновский цех Халил Расулев, Каримджан Исмаилов, Хасанов Алим и еще целый ряд стахановцев, решивших связать свою судьбу в дальнейшем с металлургическим заводом в Узбекистане.

Шодмон-палван попал в бригаду лучшего на заводе и известного всему городу сталевара Ильи Федоровича Ковшова. Ковшов был потомственный уральский рабочий, принявший профессию сталевара от своего отца Федора Игнатьевича Ковшова, который теперь уже, на семьдесят шестом году жизни, только домовничал, как говорил про него Илья Федорович, да забавлялся с внучатами.

День, когда Шодмон-палван впервые вошел в цех, как в новую жизнь, остался навсегда в его памяти волнующим и сильным впечатлением. Он с трепетом и благоговением оглядывал огромный просторный цех. И высокий стеклянный потолок над густой сетью светлых металлических сплетений, и длинный хобот шаржир-машины, подтаскивающий к печи тяжелый короб, наполненный шихтой, и возгласы людей, и грохочущие железные мостки, лесенки, ковши, и гудящие мартены, и белые стальные брызги, с песней и свистом летевшие фонтаном вверх, когда брали пробу, и полыхающий фантастиче-ским заревом цех, когда выливали готовую сталь, — все вызывало в нем благоговение и страх, волнение и счастье, все приковывало к себе его внимание. Он смотрел на все это, как завороченный, не в силах оторвать глаз и двинуться с места.

А Ковшов время от времени подходил к нему и говорил, как кудесник-шаман:

— Здесь, брат, целая жизнь бушует! А жизнь-то какая, гляди! Жар-птицы летают целыми стадами, звезды сыплются, заря светит. Эх, любо!..

Сталь варить, — для этого надо талант иметь. Талант настоящий, большой. Есть он в тебе, значит влюбился в это дело всей душой, будешь болеть за него, ночей не спать, и ни на что никогда не сменяешь. А нет, не волнует тебя это, значит не сталь тебе варить, а молочную кашу. Понял?! Так-то, брат.

Но, видимо, был у Шодмон-палвана талант, и талант настоящий, потому что с первых же дней он почувствовал, что влюбился в профессию сталевара серьезно, глубоко, на всю жизнь, и уж действительно ни на что теперь ее не сменяет.

Несколько месяцев он работал в бригаде Ковшова подручным,

а недели за две до того, как их вызвал к себе Бережин и сказал, что они поедут в Узбекистан, Шодмон-палван был назначен старшим подручным. В день, когда они перед отъездом в последний раз должны были сварить сталь и затем сдать свой испытанный мартен в надежные руки, был для них волнующим днем. Илья Федорович знал своего сменного мастера и доверял ему так же, как себе, но в этот день ему хотелось в присутствии самого подменного выплавить последнюю порцию отличной стали, чтоб тот все-таки хорошенько присмотрелся к тому, как он, Ковшов, все это делает и как слушается его мартен. Правда, он не сказал откровенно, почему ему особенно хочется сделать это в присутствии Ивана Алексеевича Мартыненко, то есть его подсмешного мастера, потому что тот принял бы это с обидой, как оскорбление, хотя, может быть, и промолчал бы. Поэтому, когда Мартыненко пришел в цех, поздоровался и встал рядом с ним на железный мостик, Ковшов, виновато улыбаясь ему взволнованным и мокрым от пота лицом, сказал:

— Ты уж разреши мне, Иван Алексеевич, еще одну выплавку сделать? А то ведь уеду надолго. Скучать буду крепко.

— Чего же там, валяй, делай, Илья Федорович. Делай. И мне полезно будет лишний раз на твою работу поглядеть.

Ковшов посмотрел на Шодмон-палвана и весело подмигнул ему: давай, дескать, постараемся.

— Я, откровенно говоря, боюсь сейчас без тебя оставаться, Илья Федорович. Выдержит ли до твоего приезда? — сказал Мартыненко, кивая на печь.

— А ты смотри хорошенько. Осторожнее будь. — И Ковшов поглядел прямо в глаза сталевару. — Дело ясное, надо бы ей стальных дать, подремонтировать. Но ведь и плавку дать надо. Да еще какую плавку?! Для башни. Понял?

— Как не понять, Илья Федорович, — сказал Мартыненко и близко подошел к печи.

Сквозь заслонки посмотрел на сизоватое пламя, взглянул на свод: печь несколько дней имела зловещий красноватый цвет.

Возвратившись опять на старое место, Мартыненко задумчиво и серьезно сказал:

— Ладно, Илья Федорович, постараюсь. Сталь для башни надо дать. Если бы не этот заказ... — Он отрицательно покачал головой. Потом вдруг решительно и быстро взглянув опять на Ковшова, твердо сказал: — Постараюсь. Сделаю, Илья Федорович, не сомневайся. Езжай спокойно.

Ковшов улыбнулся.

— Вот так и надо, Ваня. Так и надо.

Он похлопал его по плечу и подал знак подручному:

— Начинаем, ребята!

Быстро набирая лопатками пепельно-серые камешки доломита, подручные подбрасывали их в печь, то и дело вытирая обильный пот рукавом.

Ковшов следил за тем, чтобы сейчас особенно тщательно за-

правили печь. Сам он то и дело переводил воздушный и смоляной винталь, регулируя подачу горючего. Перед завалкой надо было создать в печи как можно более высокую температуру. Он видел, как подручные, стараясь изо всех сил, все время поглядывали на него. Поймав на себе тревожный взгляд Шодмон-палвана, который глядел то на заслонку печи, то на сильно перегоревшие стены, Ковшов знаком показал ему, как отрегулировать подачу топлива, и молча и весело подбодрил его кивком головы.

Когда кирпичи над горящим потоком пламени приняли беловатый оттенок, а доломит лежал слоем необходимой толщины, Ковшов посмотрел на Бегимкула, машиниста завалочной машины, и подал ему знак. Бегимкул, до этого мгновения неотрывно следивший за каждым движением и взглядом сталевара, тотчас скрылся в своей кабине. Шаржир-машина подхватила хоботом длинный железный короб, наполненный шихтой, и, развернувшись, потащила его к печи. Началась завалка.

Мартыненко молча стоял рядом с Ковшовым и опытным взглядом успевал следить и за тем, как шел процесс завалки, и как поминутно менялось лицо Ковшова, делаясь то серьезным и напряженным, то снова становясь спокойным и добродушным, и за тем, как работали подручные.

— Хороший у тебя помощник этот великан, — сказал Мартыненко, любуясь уверенной и сильной фигурой Шодмон-палвана.

— Вот научу его отличную сталь варить, спасибо скажет Узбекистан, а не сумею научить, стало быть плохой я отец. Да, отец, — повторил он настойчиво, заметив, как Мартыненко с улыбкой посмотрел на него, — и ты отец, и все мы после себя должны хорошее потомство сталеваров оставить. А то как же иначе? Это как в семье, каждому отцу хочется сына воспитать. Так и в нашем деле. Надо после себя потомство оставлять.

Он замолчал и стал пристально следить, как горы металлического лома в печи, накаляясь, меняли окраску. Они сначала порозовели, затем стали темно-красными и, наконец, приобрели беловатый оттенок с пепельным отливом. Причудливо-красивые, они лежали фантастическими грудями. Вокруг них бушевали, играя переливами красок, волны разноцветного пламени. Глаза сталевара читали язык красок.

— Хорошо, — сказал он подошедшему Шодмон-палвану. — Так и должно быть.

Когда кончилась завалка, и металл, как тающий сахар, стал разваливаться по поду печи белой массой, Ковшов вдруг снова заметил красный цвет печи, которого теперь не должно было быть. Тревожная тень промелькнула у него на лице. Он отрегулировал подачу топлива, так же, как и вчера, и позавчера, и месяц, и год тому назад, как с первого дня своей работы у мартена, стараясь угадать, почувствовать, что от него требует эта большая печь. Затем он снова прислушался и посмотрел на заслонку: шум пламени в печи заметно усилился, температура повышалась.

Сталевар, довольный, усмехнулся.

Но теперь он стал все чаще и тревожнее поглядывать на правую сторону печи, переводил контролеры, открывал клапаны, чтобы несколько охладить эту слабую часть свода. Шодмон-палван, по одному взгляду привыкший угадывать его мысли, подал знак подручным, и они сию же секунду встали у печи с готовыми инструментами. Когда на поверхности металла, как пена на варенье, начал подниматься шлак и послышался возглас: „Качать шлак!“, Шодмон-палван, стоявший уже наготове с инструментом в руках, разрушил корку, застывшую у отверстия печи, и нежно-розовая масса стала падать вниз, как загустевший мед.

Старательно выгребая своими инструментами с поверхности кипящего металла шлак, подручные направляли его к отверстию. Темные, глубокие глаза Шодмон-палвана были прикованы к этой картине, точно впервые видели и эту быструю, ловкую, умелую работу подручных, и эти меняющиеся краски металла, и струящееся вверх жаркое марево.

Чем ближе к концу подходил процесс сталеварения, тем все тревожнее и озабоченнее становилось лицо Ковшова. Он подошел к рубильнику и вдруг увидел Березина, молча стоявшего в сторонке и на лидавшего за работой бригады. „Зачем он здесь?“, подумал Ковшов и вдруг вспомнил, что они что-то должны сделать, куда-то вместе идти. „Ах, да! В госпиталь к раненым бойцам. Узнать, есть ли среди них кто-нибудь из Узбекистана. Ведь мы завтра едем“, — пронеслось в голове Ковшова. Он подумал, что уже давно, видимо, прошел назначенный час, когда они должны были все вместе собраться в клубе и идти в госпиталь, и виновато взглянув на Березина, сделал неопределенный жест.

Затем он включил какой-то сектор и, снова забыв обо всем, вернулся к печи. Опустив на глаза синие очки, он открыл заслонку и посмотрел на бушующие волны розовато-белого металла.

— Мульду руды! Мульду извести с бокситом! Качать шлак! — командовал он, стоя на мостике.

Когда взяли пробу для анализа и Ковшов взглянул на нее, лицо его засияло радостной улыбкой.

— Подать марганец! Забросить известь! — сказал он уже спокойно.

На бланке пробного листка анализа стояла отметка — „отлично“.

Машинист подъемного мостового крана подтащил к печи многотонный ковш, поставил его к жолобу, по которому сейчас должна была ринуться сталь. Шодмон-палван открыл отверстие, и тяжелая белая сталь, пышущая жаром, понеслась по жолобу в ковш.

Наступила самая счастливая минута для сталевара. Очарованным взглядом он долго смотрел на грозную силу несущегося потока, затем поднял голову, хлопнул Шодмон-палвана по плечу и, широким жестом руки показывая на взлетающие вверх горячие брызги стали и на полыхающий заревом цех, восторженно сказал:

— Вот они — жар-птицы летят! Вот она — заря, которая светит над нами.

И Шодмон-палван, чувствуя на своих плечах теплый свет красного зарева, все еще не в силах оторвать глаз от этой завораживающей силы льющейся стали, задумчиво улыбаясь, вспомнил, как Ковшов говорил ему эти слова, когда он впервые пришел в цех.

— Пойдем, друг! Березин ждет, — сказал Ковшов и тихо тронул Шодмон-палвана за плечо.

Они распрощались с Мартыненко, пожелали ему удачи и вышли из цеха, увлекаемые под руку Березиным.

Девушки в проходной, уже уставшие ждать и начавшие серьезно беспокоиться, не случилось ли чего с Ковшовым и Шодмон-палваном, встретили их обрадованными возгласами.

— Ну, наконец-то, — облегченно вздохнули они. — А мы-то уже думали, у вас там что-нибудь случилось.

— Ничего не случилось, девушки. Все хорошо. И сталь отличную сварили. Только вот ведь в чем запятая... Мы прямо из цеха... Помыться нам надо... Переодеться... А то как же мы с Шодмон-палваном пойдем в госпиталь? Там нас и близко к палате не допустят, — сказал Ковшов.

Они вернулись с Шодмон-палваном на территорию завода и пошли в душ. Пока их ждали, чтобы они помылись, переоделись и что-нибудь закусили в столовой, прошло еще минут сорок.

Только около девяти часов вечера попали они в госпиталь.

IX

Это было странное состояние, которое он испытал, впервые за время долгого беспмятства открыв глаза. И хотя оно длилось всего минуты две, он запомнил его так ярко, что впоследствии мог рассказывать с такой же осязательностью, будто вновь это испытывал.

Ни боли, ни даже ощущения собственного тела — ничего он не чувствовал в это первое мгновение, когда веки медленно поднялись и перед глазами открылось широкое, такое широкое, что он не видел его края, белое колеблющееся полотно. Сначала он смотрел на него спокойно и бездумно, потом стал усиленно вспоминать, что же это такое. Ощущение странной пустоты мешало ему это сделать, и тогда он подумал, отчего же у него такое состояние, что с ним случилось?..

Белое колеблющееся пятно перед глазами все прыгало, прыгало и начинало уже надоедать ему. Оно было похоже на что-то удивительно знакомое, но вот на что именно, он никак не мог вспомнить.

И вдруг вспомнил: Потолок! Потолок вагона! Только почему же он такой белый? Да, белый. Белая крыша вагона!

Он прислушался. Поезд. Да, да, поезд! Приглушенный стук колес, знакомый шум ветра за окном, поскрипыванье. И вот... чу! Свисток паровоза.

Поезд! Как, когда он попал на поезд?!. И почему такой белый и кажется мягкий здесь потолок?..

— Ах!..

Черный перекресток, немцы, стрельба, атака. стонущий Кодыр-али, лежавший на асфальте навзничь, вверх лицом, и это страшное, ослепительно-яркое пламя, с брызгами и громом разверзшееся перед ними,— все мгновенно встало в его воображении.

Ботыр застонал и снова закрыл глаза.

Но это длилось только секунду. Он опять открыл их, пошевелил плечом и вдруг куда-то рванулся, с восторженно горящими глазами.

— Жизнь! Жизнь! — закричал он во весь голос и вмиг обессилел и потеряв сознание, опять упал на подушку.

И уже не слышал он, как прохладная, сыпучая женская рука легла ему на лоб, как в вагоне сильнее застонали раненые и кто-то тихо, прерывисто сказал:

— Сестричка... попить...

Потом через сутки к нему снова вернулось сознание. Он позвал к себе сестру и ясным голосом спросил ее:

— Сестра, а где мой брат... Шарапов... Кодыр-али... Который был ранен вместе со мной... Где он?..

— А разве он брат ваш?.. Родной?..

— Нет... не родной, но ведь...

Ботыр засмеялся.

— Все мы теперь братья.

— Это верно.

Она замолчала и с долгой и грустной лаской глядела на его лицо, потом сказала, чуть-чуть наклонившись:

— Его вынесли... В другой вагон вынесли. Спите. Не разговаривайте.

Он зачем-то хотел пристальнее заглянуть ей в глаза, но сестра отвернулась и стала поправлять на окне занавеску.

— А скажите, сестра, куда я ранен?

— Спите,— повторила она настойчиво.

Поезд погромыхивал на стыках. Ночью, когда Ботыр проснулся, поезд стоял, и в вагон то и дело входили санитары с носилками и выносили раненых.

— Куда мы приехали? — спросил он все ту же сестру с красивым, добрым и умным лицом.

— В Свердловск.

(Продолжение следует.)

КЫРК КЫЗ

Каракалпакский эпос

Отрывок.

„Кырк кыз“ — каракалпакский эпос, бытующий в народе на протяжении пяти столетий, исполняется певцами в сопровождении дутара. Эпос повествует о героической борьбе народов Кара-Калпакии и Хорезма против своих ханов и иноземных захватчиков.

Ниже мы печатаем отрывки из эпоса, записанного каракалпакским научно-исследовательским институтом языка и литературы со слов народного сказителя Курбана Бахши и переведенного на русский язык Светланой Сомовой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь дутар расскажет мой
О том, как над большой рекой
Жил простодушный великан,
Хорезмский богатырь Арслан.
Ему бы жить да поживать,
Да к силе силу прибавлять,
А он для богатырских дел
Большого сердца не жалел,
Как лев, отважен был и смел,
А жить на свете не умел.
Мог каждый встречный на пути
К нему в доверие войти.
За каждого он биться рад,
За каждого вступиться рад,
Рад подарить и лук и меч,
И свой халат с широких плеч,
Кто б ни пришел к нему с нуждой —
Бедняк ли, плут ли продувной.
Присуще многим из людей
Казаться спутников слабей,
Чтоб кто-нибудь, борясь с бедой,

Их защитил своей спиной.
А сильному — забот не счесть,
Ему везде работа есть,
Средь бурь и бедственных лавин
За всех в ответе он один.
И сильным был тот великан,
Хорезмский богатырь Арслан.

* * *

И приходилась Алтыной
Арслану младшею сестрой.
Как солнце и весна нежны,
Как ветер и волна дружны,
В согласьи и любви они
С рожденья коротали дни.
Во чреве матери родной
Начало было дружбе той.
И вырастали близнецы,
Красавцы стали, удалцы.
И как сосали грудь рядком,
Так рядом на конях верхом
К реке, где белая гора,
Куда Арслан — туда сестра,
В поля, где иволги звенят,
Куда сестра, тула и брат.
Так, средь младенческих забав
Товарищем Арслану став,
В охоте, в скачке, а потом
И в поединке боевом, —
Известна стала Алтыной
И силою и красотой.

* * *

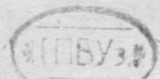
Немало средь богатырей
Сгорало от любви по ней,
И золото, и серебро,
И разноцветное добро,
Чтоб к ней посвататься, везли
Они со всех краев земли.
Но горделиво Алтыной,
Блеснув подковой золотой,
Скакала мимо на коне,
Подобно золотой луне.
Скакала мимо женихов,
Не замечая их даров.
И жил в Хорезмских тех краях
Правитель некий Надимшах.

Душой — шайтан, собой — урод,
Нешадно мучил он народ.
Свободу у людей отняв
И без веревки их связав,
Он, как баранов на убой,
Гнал весь народ перед собой.
Он пил живую кровь людей,
Он резал женщин и детей,
И злое имя „Надимшах“
Вселяло ужас в кишлаках.
Тот ненасытный людоед,
Исчадьё зла, причина бед,
С широкой круглой бородой,
Раскрашенной рыжей хной,
Был весь щетиною покрыт
И черной оспою изрыт.
А нос его торчал торчком
Над черным и худым лицом,
Торчал, кривой, как кочерга
У брошенного очага.
И этот старый изверг злой
Влюбился в пери Алтыной.

Его огнем терзает страсть,
Ему еда и сон — не власть,
И хоть прекрасных, как эдем,
Красавиц полн его гарем,
Он их не видит ни одной,
Страдает он по Алтыной.

* * *

Цветет среди скалистых гор
Лугов тюльпановый простор,
И водопад над крутизной
Блестит жемчужною волной.
Тропинки козы вверх бегут,
Сверкают камни там и тут,
Порос предгорья склон крутой
Зелено-бархатной травой.
Прохладен воздух и душист,
Роняет мальва алый лист
В теснины синих родников.
И сторожит алмаз снегов
Арча, узорна и стройна.
Прекрасна горная страна!
Вот по тропинке круговой
Спускаются Арслан с сестрой.
И горный киик вдалеке



Мелькает тенью на песке.
Привстав на крепких стременах,
С огнем в прищуренных очах,
Лук натянула Алтыной —
Стрела поет над тетивой!
А конь арабский захрапел,
На ноги задние присел.
И меткая Алтын стрела
В лодыжку кияку вошла,
И тот лежит на берегу,
Стрелой пронзенный на бегу.
И мужественный наш Арслан
Перед сестрой склоняет стан,
Он поздравляет Алтыной
С ее удачною стрелой,
И говорит он ей смеясь,
С седла узорного склонясь:

„Мой светильник яркий, что во тьме горит,
Мой родник, разбивший надвое гранит,
Да благословенно мужество твое —
Набегу тобою кияк тот убит!
И лицом красива ты, моя луна,
И со мной, как братец, храбростью равна.
Подари мне кияка этого, прошу,
Зависти досадной груль моя полна!
Раньше меня лук свой ты приподняла,
Ты опередила — вот твоя стрела!
Подари мне кияка этого, прошу,
Кияка, чью тень ты на прицел взяла!

Если птицей стану — ты мои крыла,
Если меч достану — ты, как меч, светла!
Я в подарок кияка этого прошу,
Пусть лежит в тороках моего седла.“

И раскрасневшись, как заря,
Алтын смущением горя,
За рожки кияка берет,
В подарок брату отдает.

По тропке меж седых стремнин
Летит охотница Алтын,
В седле качается Арслан,
Полднечным солнцем осиян.
И эхо гулкое гремит
В горах от покота копыт.

.

* * *

Меж тем со всем двором своим
Готовит свадьбу шах Надим.
Повсюду стелются ковры,
Проветриваются шатры,
Примеривает шах к плечу
И шелк, и бархат, и парчу.
И сто пятнадцать жен его,
Злодея старого того,
Готовясь к свадьбе, платья шьют
И косы черные плетут.

Молву о свадьбе разгласив,
Гостей почетных пригласив,
Шах услышал, что Алтыной
Вернулась в город свой степной.
„Ну что ж, — он думает, — она
Повиноваться мне должна.
Алтын в гарем я заберу,
Весь род к рукам я приберу,
И станет челядью моей
Заносчивый народ степей.“
Шах усмехается... И вот,
Шесть сватов в путь-дорогу шлет.

* * *

И вот шесть сватов, как один,
К степному городу Алтын,
Не отдыхая, держат путь...
Шесть сватов выпрямляют грудь,
Шесть скакунов призывно ржут,
Верблюдов шесть дары везут.
Они в ракушках, в бубенцах,
В узорных шелковых коврах
Шагают по холмам крутым,
Клонясь под грузом дорогим.

Подъехал к дому Алтыной
Надима караван цветной.
Верблюд передний закричал
И на колени в пыль упал,
И все верблюды вслед за ним,
Красавцем-вожаком седым,
Колена клонят, как один,
Перед воротами Алтын.
Выходит к сватам Алтыной,
Глядит она перед собой,

И лстивый выслушав рассказ,
Не опускает гордых глаз.
На это сватовство она,
Презренья жаркого полна,
Согласье шаху не дает,
Из ножен саблю достает.
Над головой ее подняв,
Алмазной саблей засверкав,
Промолвила: „Вот мой ответ!
Для шаха здесь — другого нет“.
И сваты, пред Алтын склонясь,
От страха в пепел обратясь,
Уже знакомою тропой
Поехали к себе домой.

* * *

Тогда решает шах Надим
Сам сватом сделаться своим.
Наряды выбирает он,
И войско собирает он.
Средь блеска выгнутых мечей,
Раздутых ветром епанчей,
С блестящей свитой удайцев,
Советников и мудрецов,
С чалмой на круглой голове
Шах едет войска во главе.
Он едет тропкою степной
За непокорной Алтыной.

И вот пред ним Алтын стоит,
И вот что шах ей говорит:
„Цветок пустыни Алтыной,
Послал я сватов за тобой,
Послал богатые дары —
Рубины, бархат и ковры,
Арабского послал коня, —
Что ж не уважила меня?
Я возмущенье не сдержал,
Я с целым войском прискакал.
Смотри, гордячка Алтыной, —
Сам шах стоит перед тобой.
Я говорю в последний раз,
И сватовство мое — приказ.“

Садись на белого коня
Невестой впереди меня,
Покорно голову склони,
По ветру косы распусти,

В Хорезмский отправляйся край.
А людям приказанье дай,
Чтобы они со всей земли
Мне подать новую несли.
Не медли. Выполняй скорей,
Не то мы, не сходя с коней,
Покажем вам, как горячи
У войска шахского мечи.“
И не дослушав речи той,
Расхохоталась Алтыной:
„Ты очень грозен, Надимшах,
Но толку нет в твоих словах.
Да, правильно — ты звал меня,
И отказалась ехать я.
Я еду, если захочу,
Не еду, если захочу.
Приезжий! Слушай мой ответ:
Здесь шахов не было и нет,
Издrevле наш степной народ
Свободою и силой горд.
Не будем мы тебе служить,
Не будем подати платить.
Обратной уезжай тропой
Иль выходи на бой со мной.“

И саблю из ножен достав,
Сама, как сабля, засверкав,
Алтын с изогнутым клинком
Стоит пред пышным седоком,
Пред войском замершим стоит,
Презрительно на всех глядит.
В седле согнулся Надимшах,
Огонь померк в его глазах,
Не может слова он сказать
На Алтыной глаза поднять.
И почерневший от стыда,
Как с неба павшая звезда
Обратно едет шах Надим,
И скачет войско вслед за ним,

* * *

Скорей, скорее скачет шах,
Чем дальше он, тем меньше страх,
Тем жарче гнев в его груди.
Увидев город впереди,
Шах в барабаны грозно бьет
И все войска свои зовет:
„Эй, войско храброе мое!

Искусство покажи свое
И власти покори моей
Свиристых жителей степей.
В поход, орлы мои, в поход,
Труба военная зовет.
В степи земля из серебра,
Там много разного добра,
Для нас страна та припасла
Добычи всякой — без числа.
Отнимем земли степняков.
Джигитов превратим в рабов,
Копытами растопчем их,
Кинжалами прикончим их,
По камню город разнесем
И кровью вражеской зальем.
Скорее, войны, за мной.
Скачите в бой, летите в бой."

.

* * *

Покуда шах по степи шел,
Покрыла пыль пустынный дол.
Когда же пыль плотней парчи
Пробили яркие лучи —
Из-за ближайшего холма
Явилась, Алтын сама.

В полдневных солнечных лучах,
С багровым мехом на плечах,
В кольчуге белой под плащом,
С алмазным выгнутым мечом,
С сосновой пикой в руке, —
Стоит она невдалеке,
И словно ястреб диких гор
Обводит медленно простор.
Потом свой взор остановив
И к Надимшаху обратив,
Ослабив повод скакуна,
Спокойно говорит она:

"Скакуном арабским клячу не считай,
Золотом медяшек сдачу не считай.
Если оказался на моем пути,
Будто ничего не значу, не считай.
Если угнетает слабого силач,
Если обирает бедного богач,
То его злодейство заклеит народ,
И его накажет времени палач.

Ты пошел на степи вольные войной,
Подожди, быть может и не нужен бой —
На единоборство я зову тебя,
Бейся в поединке с женщиной, со мной."

Надѣм той речью поражен,
Не выйти в бой не может он.
Рассвирепев, как старый лев,
Кольчугу белую надев,
Кривым мечом бряцает он,
Сражаться выезжает он,
Но всадников к себе манит,
Через плечо им говорит:
„Позор для шаха — кровь свою
Разбрызгать с женщиной в бою.
Следите издали за мной:
Чуть мы сойдемся с Алтыной —
Нагряньте с левой стороны,
Ударьте с правой стороны,
И окружив со всех сторон,
Возьмите Алтыной в полон.
Я еду." И мечом звеня,
Поднявши на дыбы коня,
С усменкой в сумрачных очах
На поединок едет шах.

Спешит со стороны другой
Навстречу шаху Алтыной.
Такой цветущей красоты
Исполнены ее черты,
Как будто шла весна на бой
С седой старою зимой.
И войско с двух сторон следит,
Как солнце на мечах блестит,
Как ширятся коней шаги,
Как приближаются враги.
Вот шесть шагов, вот пять, и вот —
Шах знак какой-то подает
И воины его толпой
Бросаются на Алтыной.
Коварство шаха увидав,
Над головою меч подняв,
По-богатырски Алтыной
Неравный принимает бой.
А храбрые Алтын войска,
Следя за ней издалека,
Скорѣй на помощь к ней спешат.
Войска сошлись — мечи гремят!
Сошлись пять тысяч с десятью,
Скрестились конья их в бою.

Гремит о меч шербатый меч,
И головы с покатых плеч,
Как ядра круглые, летит,
И пушки шахские палят.
Людские, конские тела
Смешались. Кровь их залила,
Обдавши мертвых и живых
Багряным жаром струй своих.
И дыбом вскинулась земля,
У неба помощи моля.

Сильнее шахские войска,
И в помощь к ним издалека
За ратью — новая идет
И с новой силой бой ведет.
Что будет с бедной Алтыной
И с родиной ее степной?
Что будет? Ах, мои друзья,
Вести рассказ не в силах я.
Но не боится Алтыной,
Ведет, не уставая, бой.
Ее копье навывлет бьет,
„Тиза-тиза“ — оно поет.
О чью то грудь копье сломав
И исфаганский меч подняв,
С пятеркой верных удалцов
Она вошла в стан врагов
И шаха ищет, не найдет.
Да как ийги — в сторонке тот.
Зато войска его идут.
Так много их собралось тут,
Что лик светила золотой
Затмился вражеской ордой.
И сорок вражеских стрелков
Алтын, красавицу песков,
Берут мгновенно на прицел,
В нее вонзают сорок стрел.
На ней надето семь кольчуг,
И все они распались вдруг,
И свет в глазах ее померк.
Она взметнула руки вверх
И тихо рухнула ничком
На землю черную лицом.
В овражек темный и сырой
Упала перь Алтыной.

* * *

Над полем битвы дым стоит,
Надим за битвою следит.

Земля в крови. Пылает бой.
Нигде не видно Алтыной.
К овражку всадники спешат,
Друг друга на скаку теснят.
Толпу джигитов растолкав,
Мечи скрещенные разняв,
Шах видит: на сырой земле,
В пернатых стрелах, в дымной мгле.
Простерто тело Алтыной,
Как мак, растопленный ногой.
Узнав ее, Надима конь
Хватит, как на ветру огонь,
А всадник сильною рукой
Приподнимает Алтыной,
В седло свое ее берет,
Из фляги в рот ей воду льет.
Алтын, открыв глаза, дрожит
И еле слышно говорит:

„Жалостью меня ты, шах, не убивай,
Режь меня ножами, стрелами пронзай.
Только каплей крови я сейчас жива,
За народ пролить мне и ее ты дай,

Я умру, валяну утренним цветком,
Но твоей не буду и на свете том,
Не жалей, мучитель, вырви мой язык,
Чтобы о злодействе мир не знал твоим“.

И говорит тогда злодей
Несчастной пленнице своей:
„О нет, отрада Алтыной,
Я сохраняю тебя живой,
Построю золой ой дворец
Тебе, владычица сердец.
Царицею ты будешь жить
И над Хорезмом всем царить,
И ежегодно твой народ
Тебе подарки понесет.

Зачем тебя мне убивать?
Такую где мне отыскать?
Живи, красавица, живи
И привыкай к моей любви!“
Шах снова продолжает бой,
А стражники стоят стеной
Над полумертвою Алтын...
Над сумраком степных долин
Костры багряные горят.

Победу шахскую гласят,
Народ свободный победив,
Весь по пятеркам разделив.
Собрал злодей с него зякет¹
Которого не видел свет.

Чтобы свою упрочить власть,
Всех биев накормил си властью,
К себе приблизил, обласкал,
И землю, и казну им дал —
Своим оплотом сделал их,
Изменников стеной родных,
И укатил в Хорезм родной,
Забравши Алтынкой с собой.

Так эта кончилась война,
Но не последняя она.
Народ страданья победит
И снова крылья отрастит.

¹ Зякет — подаять.

РОЖДЕНИЕ ОФИЦЕРА

Рассказ

Третьи сутки рота была в окружении. Шестьдесят часов тому назад, в темную и бурную ночь новолуния, гвардейцы, преодолев болото и форсировав речку, захватили усадьбу лесника.

Невысокий и длинный дом, сложенный из тесаных глыб дикого камня, стоял посредине двора, обнесенного крепким, из жженого кирпича, забором, и представлял из себя надежное укрытие и удобный пункт обороны.

С одной стороны, метрах в ста пятидесяти от дома, протекала неширокая речушка, с другой подступал густой вековой бор, а чуть дальше, на запад, лежало шоссе и мост. Ближний берег и лес были в руках врага, а на дальнем болотистом берегу, у подножия невысоких холмов, пролегал передний край родного полка, и только оттуда могла прийти помощь.

Даже окруженная на маленьком пятачке земли рота гвардейцев была тяжелой раной на теле немецкой обороны. Из усадьбы лесника, расположенной на холме, рота своим огнем сметала все живое с большого куска шоссе и с моста. Мост, в сущности, был уже ничей. Немцы, испробовав прицельный огонь гвардейцев, отказались даже от попыток взорвать его, но и подразделения, рвавшиеся на помощь роте, не могли воспользоваться мостом из-за кинжального огня немецкого пулемета, хорошо укрытого в двухстах метрах от дороги.

Шли третьи сутки обороны. Солнце медленно ползло над головой. Жестокая, сводящая с ума жажда мучила отважный гарнизон. Пить было нечего. Вода оставалась пока еще только в кожухах пулеметов, да и там ее было катастрофически мало. На исходе были и патроны, а последние гранаты рота израсходовала еще утром при отражении очередной атаки немцев. Роты, собственно говоря, тоже не было. Было всего около тридцати утомленных боем и изнуренных жаждой вооруженных людей с двумя офицерами во главе. Но это были советские гвардейцы.

Командир роты капитан Нагибин в который уже раз обшаривал в бинокль в димый из дома участок шоссе.

— Чорт его знает, куда они запрятали этот пулемет, — ворчал он про себя. — Откуда он гад строчит, что ни нам, ни нашему полку с того берега не видно. Ведь в нем весь вопрос.

— Только там, капитан, где и вчера мы его предполагали. Только там, в кювете, около кривой березы, — проговорил лейтенант Коршунов, сиди на полу и старательно перебинтовывай ногу, которую два дня тому назад глубоко оцарапал осколок мины. — Только там, и нигде больше.

— Там, там, — неожиданно рассердился капитан. — Может быть, и там, да как мы его оттуда выковырнем?

— Да-а, — протянул Коршунов. — Если бы не этот пулемет, жизнь была бы значительно веселее. — Лейтенант кончил бинтовать ногу и, уцепившись обеими руками за подоконник, поднялся.

Немцы вели по дому редкий, тревожащий мин метный огонь. Чтобы не рисковать напрасно людьми, Нагибин после отражения немецкой атаки приказал всем укрыться в подвале дома. На местах остались только не дремлющие, сторожкие наблюдатели.

Поднявшись с пола, Коршунов тоже выглянул через пролом в стене. Залитое солнцем шоссе белело настолько близко, что можно было различить крупные булыжники, лежащие по обочине дороги. На полкилометра левее горбилась стометровая громада моста. Под яркими лучами солнца вся эта картина показалась неожиданно мирной. Но в этот момент в воздухе послышался хватающий за душу вой, и прямо в стропила, уцелевшие от разбитой вдребезги черепичной крыши, ударилась мина. Осколки металла вместе со щепками засвистали в воздухе.

— Вот чорт, — выругался Коршунов, — пристрелялись.

— Теперь жди налета за налетом. Пристрелялись гады. Давай, дружка, спускаться вниз. — Нагибин взял за руку Коршунова и помог ему дойти до входа в подвал. — Наблюдатели у пулеметов! Смотреть во все глаза! Укрыться тщательнее!

В подвале царил полумрак. Свет проникал через бойницы, сделанные гвардейцами в стенах. Гарнизон готовился сражаться до конца, даже если немцы ворвутся в усадьбу и этот дом станет последним пунктом обороны.

Лейтенант Коршунов лег на один из снопов необмолоченной ржи. Десятка два таких снопов валялись на полу подвала и служили гвардейцам хорошей постелью. Капитан Нагибин сел у входа на поломанный табурет. Негромкий солдатский разговор при появлении офицеров стих. Капитан молча оглядывал своих солдат. На голове старшего сержанта Вали Захидова, легко раненого в утреннем бою, в полутьме белела повязка. „Вали“ — так звали товарищи по оружию командира 1-го отделения бывшего второго взвода. Бывшего... Сейчас под командой Захидова оставалось всего пять человек, а другие, во главе с командиром взвода лейтенантом Нурутдиновым, лежали в самом дальнем конце подвала.

Захидов почувствовал на себе взгляд офицера, оглянулся и

встал. После гибели старшины роты он выполнял также и его обязанности.

— Сиди, сиди, — остановил его капитан. — Болит рана? Чего не лежишь, пока боя нет?!

— Не болит, товарищ гвардии капитан! Только чешется очень сильно.

— Надо иодом прижечь.

— Иода нет. Кончился. Когда сюда пробирались, пуля санитару сумку пробила. Иод пропал и... санитар тоже пропал.

Захидов помолчал секунду, потом добавил:

— Думаю, и так заживет. Кость ведь цела.

— Захидов! — Капитан пристально посмотрел на него. — Сколько у нас патронов осталось?

— У каждого бойца по пятнадцати, у пяти наблюдателей по двадцать пять, у станковых пулеметчиков по две ленты, у ручных — по три диска, ну... и запас.

— А сколько в запасе?

Захидов замялся.

— Говори, говори открыто. Не стесняйся.

— В запасе 150 патронов осталось.

— Не густо. А гранат?..

— Ни одной! — ответил Захидов. „Что же он спрашивает? Ведь знает, что утром последние гранаты израсходовали“, — подумал он.

Прошло несколько тягостных минут молчания. Капитан Нагибин смотрел на бойцов. А они так же молча глядели на него. Он видел спокойный, уверенный взгляд Вали Захидова, колхозника из Бухары, в мирной жизни лучшего сборщика хлопка; видел голубые, как море, глаза Жоры Червоного, девятнадцатилетнего одессита, веселого песенника и гитариста, упрямые и немного дерзкие глаза Ивана Чеботаренко — слесаря с Урала и — его друга, тоже Ивана, только Шумилина, охотника из Забайкалья. Угрюмым, тяжелым взглядом ответил командиру бывший колхозный бригадир из под Харькова, Петр Черета. И вспомнил Нагибин, как первый раз таким взглядом, тяжелым, как свинец, посмотрел на мир Петр Черета, получив известие, что остался один, как перст, что расстреляна немцами в Бабьем Яру его черноглазая, веселая жинка Галина и пятилетний сынишка Вовка. Спокойно и даже ободряюще смотрел на капитана пулеметчик Овчинников, бывший председатель приволжского колхоза. Воевал он с первого дня войны, и Нагибин знал, что уже три раза Овчинников с боем выходил из немецкого окружения. Его серые, с искоркой упорства глаза, казалось, говорили офицеру: „Ничего, капитан, не впервой. Сдвжим. Выстоим!“ — Сидевший рядом с Овчинниковым боец, опустив глаза, что-то чертил пальцем у себя по колену. Он был молод, прибыл в роту с недавним пополнением, и капитан, вспомнив его имя, никак не мог припомнить фамилию.

— Ну что, Борис, задумался? — обратился к нему Нагибин. — Как воюется?

Юноша вздрогнул, поднял глаза на капитана и вновь опустил их.

— Воюю, товарищ капитан!

— До армии кем работал?

— Мне мало пришлось работать. Больше у родителей жил.

Снова все замолчали.

— Так вот, хлопцы. Слышали, сколько у нас боеприпасов? На небольшую драку, может быть, и достаточно, а для хорошего боя мало. Что же скажете, гвардейцы?..

Иван Шилин, один из лучших стрелков роты, ответил первым.

— По пятнадцать патронов на стрелка — это, конечно, немного, но опять же таки и немало. Пятнадцатью патронами — пятнадцать фрицев уложить можно, если не горячиться. Немцы в атаку подурному ходят. Бэй на выбор. Отобьемся, товарищ гвардии капитан, а там, может, и наши прорвутся.

— Наших болото не пропускает. Да и пулемет по мосту ходу не дает, — невесело отозвался Борис. — Едва ли пройдут наши.

— Мы прошли, значит и наши пройдут. Что ж, мы-то особенные люди, что-ли, — с досадой перебил его Захидов.

— Правильно. Держаться надо, — поддержал Захидова Овчинников. — Там наши сейчас все меры принимают. Про нас, пожалуй, уже и комкор знает, а может быть и в штабе армии известно. Помогут. Держаться надо.

Хмурые лица бойцов заметно посветлели. Надежда на помощь превратилась в уверенность.

— Так вот, хлопцы, — снова заговорил Нагибин. — Шилин верно сказал. Бить надо только по-снайперски. — Капитан весело оглядел бойцов. — Вы понимаете, ребята, что даже этими патронами мы не меньше полтысячи фашистов уложить можем. Здорово?! А?

В подвале загудел возбужденный разговор.

Капитан помолчал с минутку, весело вслушиваясь в разговоры, потом сказал еще более твердым и громким голосом:

— Я решил сегодня ночью сделать вылазку и прикончить пулемет у моста. Со мною пойдут три человека.

Бойцы тоже на секунду замолчали, видимо, опешив от неожиданности, потом заговорили сразу. Каждому хотелось принять участие в вылазке, и Нагибину пришлось выбирать.

— Тебе нельзя, Валя, — ответил он на просьбу Захидова. — Лейтенант Коршунов ранен. И ты ему помогать должен. А я возьму с собою Чеботаренко и Шилина.

— Товарищ гвардии капитан! — взволнованно заговорил Захидов. — Зачем вы сами идете? Разве это правильно? Вам с ротой надо быть. Пустите меня. Я справлюсь.

— Я вначале тоже думал тебя послать, — ответил Нагибин. — Но дело не только в том, чтобы просто захватить немецкий пулемет, но и заставить его работать. Ведь тогда он немцам во фланг ударит. А кто из вас знает немецкий станковый пулемет? — обратился он к солдатам.

Все смущенно молчали.

— Ну, то-то же. Командование ротой передаю лейтенанту Кор-

шнуову. Ваша задача — отвлечь внимание немцев и в случае их атаки...

Вдруг здание затряслось от сильных и близких взрывов. На головы сидящих посыпался с потолка песок.

— Из тяжелых минометов бьет, — тихо сказал Борис, когда прекратилась волна взрывов. — Пристрелялся уже и тяжелыми.

— Да, это из тяжелых минометов немцы нас угостили, — подтвердил Нагибин. — Нужно проверить, как там наблюдатели.

— Есть проверить наблюдателей! — ответил Захидов и нырнул в проход к выходу.

* * *

Была самая глухая пора непроглядной августовской ночи, когда капитан Нагибин и два его спутника, перемахнув через кирпичную стену усадьбы, исчезли в темноте. Лейтенант Коршунов и Захидов, проводив друзей, стояли несколько минут молча. В обе стороны от них уходила, исчезая в темноте, стена усадьбы. И тот и другой знали, что через десять-пятнадцать шагов у бойниц, проделанных в стене усадьбы, замерли настороженные гвардейцы. Изредка раздавался негромкий стук саперной лопатки. Под покровом ночи улучшалась оборона, углублялись окопы.

— Чорт знает, как пить хочется! — выругался Коршунов. — У меня уж не только губы, а и кишки шелестят, как бумага. Совсем высохли.

— Да, без воды плохо, — согласился Захидов. — Сегодня ночью терпим, завтра день тоже терпим, а на другую ночь, если помощь не придет, надо будет вылазку к реке делать. Трудно, а деваться некуда.

— Ну, уж нет. Вылазки делать не будем. Или утром, или же, самое позднее, завтра к вечеру, а помощь придет. Наши поймут сигналы ракетами, только бы капитану удалось захватить пулемет.

Коршунов вынул часы. Тусклым, фосфоресцирующим светом заблестел пиферблат.

— Уже двадцать минут прошло, — сказал он. — Через пятнадцать минут, если не будет сигнала, дадим по лесу парочку залпов. Пусть фрицы у пулемета понервничают, постреляют в ответ, покажут капитану, куда они спрятались.

Но тревожить немцев не пришлось. Фашистский пулемет неожиданно заработал сам. Видимо, фашистам что-то почудилось в ночной темноте.

— Вот шайтан, — встревожился Захидов. — Капитана, наверно, услышали.

— Не должно быть, — успокоил Коршунов. — Спросонок чего-то перепугались или просто так, чтоб сон разогнать.

Долго стояли у невысокой кирпичной стены два гвардейца, напряженно вслушиваясь в ночную тишину. Но низвук не доносилось из черной пустоты поля. Уже небо начало белеть, предвещая близкий рассвет, когда немецкий пулемет внезапно заработал снова. Но теперь он бил не так, как всегда. Вначале один за другим

прозвучало пять одиночных выстрелов, затем раздалась длинная очередь, и все завершилось снова тремя одиночными выстрелами. После этого наступила тишина.

— Есть! Готово! — радостно вырвалось у лейтенанта. — Взял капитан пулемет. Теперь держись, немчура проклятая! Валя, дорогой, тащи быстрее ракеты и ракетницу.

С шипением, одна за другой, ракеты сверлили предрассветную муть, рассыпаясь ярким снопом искр в районе моста. Выпустив восемь ракет, Захидов остановился.

— Довольно, что ли, товарищ гвардии лейтенант?

— Да подкинь им, Валя, еще парочку, чтобы ровно десяток был. Куда нам ракеты-то девать? Пусть наши знают, что мы здесь духом не падаем.

Немцы, почувствовав что-то недоброе, забеспокоились. Пулемет, захваченный группой капитана Нагибина, опять затрещал. Но теперь он бил не по мосту, а вдоль опушки бора, прямо во фланг немцам. В ответ из леса раздалось знакомое покашливание немецкого миномета, и в серой полутьме рассвета завывли первые мины. Начался четвертый день боя за домик лесника.

Узнав, что контроль над мостом утрачен, немцы во что бы то ни стало решили восстановить утерянные позиции. Но их атаки на пулемет с фронта оказались бесполезными и стоили им очень дорого, а обойти пулемет с флангов препятствовал огонь роты из усадьбы лесника. Тогда немцы обрушили все свои силы на остатки осажженного гарнизона.

Шел всего лишь пятый час утра, а бой за усадьбу был в полном разгаре.

Сначала во дворе дома несколько раз вскипал шквал минометного огня, перемежавшийся мучительно тягучими минутами молчания. Но три предыдущих ночи не прошли даром. Бойцы хорошо окопались, и минометные налеты не принесли гвардейцам серьезного ущерба. Но вот смоль последний, особенно ожесточенный, налет и вокруг сразу же стало необычайно тихо.

— Внимание, хлопцы! Сейчас фрицы в атаку полезут, — раздался голос лейтенанта Коршунова. — Не горячиться! Беречь патроны, стрелять наверняка!

Гвардейцы прильнули к бойницам. Среди кустов опушки леса, метров на сто не доходивших до ограды усадьбы, замелькали темные фигуры.

И странно: глядя на перебегавших немцев и беря одного из них на мушку, Захидов был так спокоен, что ему почему-то невольно вспомнилось, как еще в самом начале войны он в запасном полку в Катта-Кургане проходил основы военной науки.

Много раз тогда на учениях он видел атакующие цепи, наступающие на обороняемый им рубеж, и всегда старался сохранить в себе внутреннюю выдержку и спокойствие.

Захидов выстрелил, и немец, взмахнув руками, ткнулся головой в землю.

— Есть сто восемнадцатый, — спокойно сказал Захидов и опять

прицелился. Справа и слева от него гремели выстрелы. Не торопясь, методически стреляли бойцы. Невысокая кирпичная стена ограды оказалась недоступной для немцев. Прицельный огонь советских гвардейцев сделал свое дело; фашистская цепь растаяла, еще не выбравшись из кустов.

И снова в воздухе завывали мины, зататакал пулемет, и над головами укрывшихся в окопах бойцов засвистели пули и осколки мин. В перерыве между разрывами с противоположной стороны двора до Захидова донесся гол с Коршунова:

— Валя, жив? Как там у тебя, немцы не беспокоят?

— Порядочек! — привычным фронтовым словечком отозвался Захидов и озорно добавил: — Немцев нет. Все, видно, кончились. Скучно!

— На тебя, на чорта, разве напасешься немцев! У тебя взгляд на них нехороший. Посмотришь через прорезь прицела, и бедному немцу смерть. Которого ты сейчас выжидаешь?

— Сто двадцатого.

— Молодец! Жми и дальше по этому же азимуту!

Эту дружескую задорную переключку под огнем врага подхватили бойцы.

— Борис, как дышишь? — воспользовавшись минутой затишья, кричал из своего окопа грузин Чантурия, весельчак и балагур роты.

— Я-то ничего, жив покудова, — ответил Борис. В воздухе завывала мина и он торопливо крикнул: — Держись, Чантурия, эта к тебе летит.

— Зачем, кацо, ко мне?! Мне не надо. Возьми себе!

Борис не успел ответить.

— В ружье! — раздался сигнал наблюдателя.

Немцы снова пытались атаковать. Так ожесточенный огонь врага сменялся остервенелыми атаками, атаки — новым каскадом мин. Но уже к семи часам стало ясно, что двор отстоять не удастся. Прямо в кожух одного из станковых пулеметов ударила мина, и верный „Максим“ навсегда умолк, придавив тяжелым искореженным щитом грудь убитого пулеметчика. У гвардейцев остался только один станковый пулемет, из которого косил врага невозмутимый Овчинников.

Последние защитники плацдарма один за другим выходили из строя. Навсегда замолк веселый голос неунывающего грузина Чантурия. Громко ругаясь, подполз к Захидову Жора Червоный и отдал ему остаток своих патронов. Крупный осколок, уже на излете, мимоходом состругнул со лба одессита все мясо, и хлеставшая потоком кровь заливала ему глаза, стекая на грудь. Зажав рану измазанной в кровавой грязи рукой, он, яростно ругаясь, уполз в дом.

Все тревожнее звучал вопрос Коршунова:

— Валя, жив? Как там у тебя?..

Все реже становился огонь гвардейцев, и вскоре, подобрав убитых и раненых, пришлось отойти под защиту дома.

Указывая каждому бойцу его место, лейтенант Коршунов говорил:

— Бей, только наверняка. В запасе ни одного патрона. Землистая блдность покрывала его лицо. Раненая нога начала болеть все сильнее, повязка сползла, и кровь струилась прямо в сапог.

Едва отдав последнее распоряжение, он присел на пол.

Мысленно прикидывая, успеет ли он до следующей атаки немцев перевязать ногу лейтенанту, Захидов помог ему стащить сапог и размотать старую, налитанную кровью повязку. Во взгляде Захидова Коршунов уловил молчаливый вопрос.

— Придут, Валя, придут. Я уверен, что скоро придут, — горячо, вполголоса заговорил Коршунов. — Ведь и времени-то еще мало. Смотри, семи часов еще нет. К полудню обязательно придут.

Однако закончить перевязку они так и не успели.

Немцы снова пошли в атаку. Сейчас они лезли особенно нахально. Огонь пулемета капитана Нагибина был им уже не страшен. От него их спасала стена ограды. Стреляя по фашистам, Захидов вдруг заметил, что не слышно выстрелов из пистолета лейтенанта Коршунова. Сержант испуганно оглянулся. Но тревога оказалась преждевременной. Стоя в простенке, Коршунов торопливо перезаряжал пистолет.

— Живем, Валя, — крикнул лейтенант, встретившись взглядом с Захидовым, и весело улыбнулся. — Крепко всыпем вшивой немчуре! По-гвардейски! Еще часок продержимся, и наши подоспеют. Веселей, друже! — И он, приветственно помахав рукой, повернулся к окну, но вдруг, выронив пистолет, тяжело, плашмя, рухнул на пол. Немцы снова отходили, но чья-то последняя пуля скосила Коршунова.

Захидов кинулся к лейтенанту. Пуля вошла под левую лопатку и проникла глубоко в шею. Коршунов умирал. Подняв его вдруг отяжелевшую голову, Захидов услышал слабый, но постепенно крепнувший шопот: — Ну, вот и конец. Не дождался я. Теперь ты командуй... Наши придут... Скоро... Стой на смерть... — И, видимо собрав последние силы, полным и твердым голосом проговорил:

— Слушайте, гвардейцы!.. Ротой командует Захидов!.. Он теперь ваш офицер! Держитесь крепко... Наши скоро...

Он умолял. Захидов все еще держал его голову в своих руках. Вдруг Коршунов снова открыл глаза:

— Ты иди... Ты сейчас командир... Действуй... А меня оставь, я старый вояка, сам справлюсь, не впервой... — и, сделав попытку улыбнуться своей последней шутке, лейтенант вздрогнул и затих.

Беспомощно, как-то по-ребячьи встав на четвереньки, Захидов смотрел на друга. Он не замечал, что из глаз его катились слезы и падали на мертвое лицо лейтенанта.

Потом Захидов встал, огляделся. Гвардейцы стояли каждый у своей бойницы. На нового командира роты хмуро смотрели одиннадцать пар человеческих глаз. Одиннадцать истомленных непрерывным боем людей — все, что осталось от гвардейской роты.

„Он теперь ваш офицер“, — мысленно повторил Захидов слова умиравшего Коршунова. „Какой же я офицер? Я сержант, командир!

отделения. Семилетки не кончил", — в смятении чуть не заговорил он вслух, но в этот момент по стене дома хлестнула длинная очередь фашистского пулемета, и Захидов неожиданно для самого себя скорее почувствовал, чем успел подумать, что эти хмурые, усталые люди, несмотря ни на что, готовы драться и сейчас ждут его приказа. С новым, незнакомым ему до этого момента чувством ответственности, он приказал:

— Не отвечать на огонь. Подпускать до стены и бить без промаха. — И уже другим, обычным голосом добавил: — Ничего, друзья, выстоим. Наши вот-вот подойдут.

— Товарищ гвардии старший сержант! — обратился к нему Борис. — Драться нечем. Патроны все...

"Вот оно, подошло самое страшное", — промелькнуло в голове Захидова.

— Проверить, у кого сколько осталось патронов! — приказал он.

Началась тщательная проверка. Бойцы выворачивали карманы, ощупывали вещевые мешки, лихорадочно разгребали кучки стреляных гильз, но все было напрасно: патронов оставалось всего девятнадцать штук.

— Что ж, по одному на себя каждый пусть израсходует, и basta. Не станем же мы сдаваться, — хмуро сказал Петр Черета.

— Гвардейцы не сдаются! — отозвался кто-то.

"Может быть, прав Черета? Наши все равно не успеют... Не сдаваться же..." — на мгновение заколебался Захидов. Но сейчас же вспомнил все, что ему приходилось слышать о традициях русских гвардейцев.

— Девятнадцать патронов, это девятнадцатью немцами меньше. А потом есть штыки, есть приклады, наконец — кулаки есть, — строго и жестко сказал Захидов.

И Черета невольно подтянулся и оправил гимнастерку, как делал всегда, когда слушал приказание офицера.

— Взять каждому по одному патрону, — приказал Захидов. — А вы, Черета, и вы, товарищ Овчинников, как лучшие стрелки, возьмите по два. Немцев подпустить вплотную. Бить залпом в упор, а затем по моей команде в штыки. Ясно?

— Товарищ гвардии старший сержант! — нерешительно заговорил Борис. — Может быть, лучше к реке отойти. Добежим до реки, а там вплавь доберемся до кочкарника. А?

Губы Захидова побелели, глаза прищурились.

— В рукопашную вы пойдете первым, Борис! — спокойно и властно приказал он и чуть приподнял в руке пистолет Коршунова. — Ясно?!

— Ясно.

— Повторите приказание.

— Есть в рукопашную идти первым, — густо покраснев, повторил Борис.

Следующей атаки пришлось ждать довольно долго. Прошло около часа, пока меж кустов снова замелькали фигуры наступающих. Кто-то из гвардейцев даже присвистнул:

— Ну и ну! Густо же фрицев прет. Тут и слепой не промажет.
— Без команды не стрелять. Бить залпом! — вполголоса повторил приказание Захидов.

Трескотня немецких автоматов нарастала с каждой минутой, но дойдя до границы кустов, фашисты неожиданно замаялась. В полном молчании осажденного гарнизона им почудилась, видимо, какая то новая угроза. Однако, подстегнутая жестким бичем команды, цепь вышла из кустов и стала быстро приближаться к огаде.

Вдруг напряженная тишина, стоявшая в доме, была нарушена задорным голосом Жоры Червонного. Он, пошатываясь, вышел из подвала с перевязанной головой.

— Что же это, братишки, вы без меня решили рубеж менять? Не выйдет. Я еще не досыта навоевался.

Только сейчас Захидов вспомнил о раненых. Уловив его впросительный взгляд, Червонный сказал:

— Я один остался. Остальные полностью отвоевались.

Он взял винтовку и прислонился плечом к стене, морщась от возрастающей боли и тяжело переводя дух.

Немцы дошли до огады и снова остановились. Должно быть, молчание, царившее в домике, действовало им на нервы сильнее, чем если бы их встретила стена огня.

— Не стрелять без команды, — еще раз повторил Захидов. — Пусть во двор влезут.

Лающий окрик команды вновь полхлестнул немцев, и они неуклюже стали переваливаться через стену. Когда самые храбрые из них прошли уже больше половины двора, Захидов так же вполголоса скомандовал:

— Приготовиться! Огонь!!!

Ни одна пуля не пропала даром. Более десятка фашистов свалились на землю, а остальные заколебались, ошеломленные дружным залпом. Тогда, схватив винтовку, Захидов во всю силу своих легких крикнул:

— Вперед, товарищи! За нашу Родину! За нашего Сталина! За мной! — и уже не помня того, что он приказывал Борису, Вали первым выскочил в пробоину в стене и пошел навстречу немцам, выставив далеко впереди себя блестящее острое штыка. Наклонив голову и глядя исподлобья на приближавшихся врагов, Захидов скорым шагом шел им навстречу, а в голове в это мгновение промелькнула одна маленькая, обычная мысль, что зря он не расстегнул воротник гимнастерки, легче бы дышалось в рукопашном бою.

Справа и слева от Захидова, также ошетилившихся штыками, скорым шагом шли на врага двенадцать гвардейцев. Захидов с удовольствием увидел, как Борис с решительным лицом шел впереди всех. До немцев осталось уже не больше десяти шагов, когда на их расвирепевших мордах вдруг появилось выражение испуга и растерянности.

Что с ними? Неужели это стадо испугалось нас, маленькой горсточки? — едва успел подумать Захидов. Но рассуждать было некогда. Сосредоточив всего себя в одном движении, Захидов изо

всей силы ударил штыком ближнего немца, рванувшегося было куда-то в сторону. В это мгновение тусклая стальная полоса сверкнула перед самыми его глазами, и Захидов почувствовал толчок и боль в левом плече. Но порыв и азарт рукопашного боя уже овладели им, и он, не обращая внимания на боль, со всего размаха опустил приклад своей винтовки на голову следующего немца.

Вдруг Захидов приостановился, недоумевая. Бить больше было некого. С удивлением он увидел, что, обгоняя его, в атаку шли все новые и новые десятки бойцов. Широкое русское „ура“ все дальше и дальше катилось по лесу. Захидов невольно тронул саднившее плечо рукой, все еще не двигаясь с места. Намокшая от крови гимнастерка была разорвана, и погона на плече не оказалось. Но рана была неопасной. Широкий штык немецкой винтовки, видимо, только скользнул поверху.

— Счастливо отделался. Могло быть и хуже! — услышал Захидов чей-то хорошо знакомый голос и в изумлении поднял голову. Перед ним, широко улыбаясь, стоял командир второй роты гвардии капитан Губин. И — чего ты так горячо взялся? — улыбаясь, продолжал Губин. — Дайте моим орлам поработать. Пусть сорвут злость. Ее за трое суток порядочно в них накопилось. Иди в тыл. Там сейчас всех уцелевших от вашей роты командир полка собирает. Здесь и без вас закончим. Иди. А все-таки мы во-время подоспели. А то немцы, как муравьи, на вас было напали, даже и не заметили, как мы через мост перебрались и им во фланг ударили. Ну, иди, иди. Кровь-то из плеча, гляди, течет.

В тех же развалинах дома собрались остатки гвардейской роты. Еще до возвращения Захидова пулеметчик Овчинников доложил командиру полка обо всем происшедшем здесь за трое суток боя. Перевязав на скорую руку плечо, Захидов подошел с рапортом к командиру полка, но тот, отмахнувшись от рапорта, обнял и поцеловал гвардейца.

— Молодец! — проговорил полковник, внимательно вглядываясь в лицо Захидова. — Так значит, Коршунов, умирая, назначил тебя командиром роты? Ну что ж. Ротой, пожалуй, тебе еще рановато командовать, а вот взводом командовать будешь.

Полковник крепко пожал его руку и пошел вслед за далеко уже продвинувшимися батальонами.

К Захидову подошли капитан Нагибин, Чеботарепко и Шилин.

— Ну что ж, Валя, собирай всех, кто уцелел из моей роты, да выводил в тыл, — сказал Нагибин. — Полковник три дня отдыха дал.

— А где же Борис? — вдруг с интересом спросил Захидов. — Что ж я его не вижу. Уж не погиб ли?

— Его в санчасть отправили, — с неожиданной теплотой в голосе ответил Черда. — И рана честная у парня. В грудь. Штыковая, но не тяжелая. Вернется из госпиталя, добрый гвардеец будет.

— Товарищ гвардии капитан! Первый взвод в количестве двенадцати человек построен и ожидает ваших приказаний! — послышался через минуту четкий голос Захидова.

КАСПИЙ

Вот и город,
и порт Бендер-Шах,
Приезжают — спешат,
уезжают наспех.
В порт войдешь —
зашумит в ушах
Днем и ночью
клокочущий Каспий.
Мало ль таких,
казалось, морей.
Глубина его — ерунда.
Но взъяренное море
не раз с якорей
Волною срывало суда.
Но не бурями порт
этот памятен нам,
Не за это его
мы вспомняем не раз.
В лихолетье войны
по кипучим волнам
Мы отсюда снаряды везли на Кавказ.
Город стал
пограничною зоной,
Порт — одним из важных портов.
И командовал здесь
комендант гарнизона
Боевой лейтенант Иванов.
Приезжают к нему
из Семнана, Тавриза,
Приезжают купцы
из разных стран.
Не уедешь
и груз не отправишь без визы;

Это может решить
только сам комендант.
Стучимся и мы к коменданту:
„Здрасте,
Нельзя ли уехать
и нам поскорей.“
„Вы плохо знаете в бурю Каспий,
Злее Каспия в мире
нету морей.“
О шторме прочел нам
он сводок воров,
Уверял,
что сводки его не лгут:
„На баржи
гружу я сегодня порох,
Людей в непогоду
вести не могу.“
„Но мы с непогодой
встречались нередко.
А немцы не ждут,
немцы рвутся к Баку.“
„Я сделаю вам
в предписаньях отметки,
Но вас в непогоду
вести не могу.“
Я вам напишу,
что беснуется Каспий,
Что в море бушует
шторм и гроза.“
„Да можем ли мы
с этой справкою в части
Прибыть
и солдатам смотреть в глаза!
Мы верим вам,
верим в сводок воров,
Мы знаем,
что Каспий шутить не привык.
Но мы —
русские.
В битвах мы нюхали порох,
И общий с морем
найдем язык.“
Комендант Иванов
человек некапризный,
Он русской природы
большой знаток.
Он взял проездные,
поставил визу
И спокойно сказал: „Езжайте в Моздок.“

Там храбро сражаются
наши части.
На Кавказе идут
день и ночь бои.
Бушующий в бурю Каспий
Поймет,
что вы — свои.”
Мы ночью
покинули Бендер-Шах,
На порох
грузились наспех.
Трое суток
шумел в ушах,
Но в срок
доставил Каспий.

ШКОЛА ЖИЗНИ

Кто-нибудь, когда-нибудь напишет чудесную, неповторимую книгу о молодом парне лет двадцати двум или чуть побольше, о таком парне, который испытал все на свете и идет правильной дорогой жизни. Он мок под дождями, дрожал на снегу, не раз был тяжело ранен, много раз мог быть убитым, но остался жив, дошагал до самого Берлина и там встретил день Победы. Теперь, в мирное время, мы снова видим его на передовой линии.

Мне бы хотелось, чтобы героем этой книги был Виктор Ильин. Пусть автор выведет его под другой фамилией, родом он станет не из Самарканда, а из другого места, но и все равно узнаю знакомые черты и поступки.

С Виктором Ильиным я встретился ровно три года назад. Так же, как и сейчас, в полной силе была весна. Из вражеского тыла вернулись семь разведчиков. Они были одеты кто в солдатские фуфайки, кто в плащ-накидки. Все были грязные, как черти. Вышли они на нашу сторону, остановились и, словно по команде, сняли шапки. Их встречал сам генерал. Командир восьмерки вышел вперед, четко, по-военному щелкнул каблуками рваных сапог, но доложить не успел. Генерал заключил его в свои объятия.

— Так вот ты какой, — проговорил он. — И все вы... Спасибо, ребятушки, за службу!

Командир разведчиков (это и был Виктор Ильин) улыбнулся, и тут я увидел, что это очень молодой парень. Ему никто не дал бы и восемнадцати лет. А его бойцам, казалось, было и того меньше. Разведчиков увезли на машине. Они спали двадцать часов.

До сих пор дела группы Ильина носили строго секретный характер. Армейские связисты почти каждый день принимали шифрованные телеграммы из вражеского тыла. Кто их передавал — было неизвестно. В разведотдел поступали самые необходимые сведения о противнике.

На второй день я встретился с Ильиным. У меня сохранилась запись нашего разговора. Я привожу ее без всяких добавлений и изменений.

— Сколько вы были в тылу? — спросил я.

— Восемь с лишним месяцев.

— Трудно пришлось?

— Трудновато, — чистосердечно признался Ильин.

— В свою группу вы, конечно, отбирали лучших разведчиков?

— Зачем отбирать? Мы все из одной школы, из девятого класса. Началась война — сговорились и пошли на фронт.

— Так все и пошли?

— Так все и пошли. Полтора года уже в разведке.

— Можно сказать, вы счастливчики. Остались живы, невредимы.

— До этой разведки везло. А тут — двоих оставили. Похоронили на вражеской земле...

— В одной схватке убило?

— Нет. Мы восемь раз вели бой. Сначала Саиба Таджибаева взяла пуля, потом, когда немцы загнали нас в болото, Васю Степанова. Эх, лучше не вспоминать...

Мы помолчали.

— Вас сами ребята избрали командиром? — снова спросил я.

— В школе я был комсоргом, выходит, тоже как бы командиром. Ну, и на войне по-старинке... Ребята говорят, тебе доверяем. Отказываться не пришлось.

Из короткого рассказа я узнал, что молодые разведчики жили, бились в бою, ходили на опасные дела и побеждали вместе, локоть к локтю, сердце с сердцем. Война еще больше сблизила их, школьных товарищей. Когда кто-нибудь один уходил в разведку, — волновались за него, не спали ночами. Каждый день их жизнь висела на волоске. Но это не пугало разведчиков, они делали свое дело. Потом соединились с партизанами.

В деревнях веселились немцы — слышался смех, музыка патефона. Разведчики, которые и в партизанском отряде всегда были впереди, отучали гитлеровцев от праздной жизни: бросали в окно гранаты, поджигали дома. Темными дождливыми ночами они подползали к полотну железной дороги, закладывали взрывчатку. По дороге проходили немецкие патрули. Но разве что-нибудь заметишь — работа чистая! А через несколько часов летел под откос эшелон. Груша Виктора Ильина спустила под откос девять вражеских поездов: она потеряла счет атакам и разведкам.

О себе Ильин ничего не говорил. Зато целый вечер, уединившись со мной, чтобы не слышал командир, мне рассказывали о нем бойцы. В тылу врага Ильин не раз выручал разведчиков из беды. Однажды попали в страшную переделку: немцы сжали их на небольшом клочке земли. Поднялся Виктор Ильин, крикнул: „За мной!“ и повел людей в атаку, напролом. Они прорвались, не потеряв ни одного человека. Один был ранен, но его вынесли на руках.

Передо мной вырисовывался образ вожака молодых разведчиков,

юноши с чистой душой, благородного в своих стремлениях и поступках.

В другой раз я провел у разведчиков целую ночь: на завтра им предстояло горячее дело. Кто долго отступал или стоял в обороне, тот понимает всю глубину радости, заключенной в одном слове — наступление. Разведчики веселились во всю. Звенела гармонь: Виктор Ильин ловко отплясывал „барыню“. О предстоящей разведке никто не проронил ни слова. Все было готово, обо всем уже переговорено. Я ночевал в землянке у Ильина. Здесь я увидел его совсем другим. Он всю ночь не спал, взад и вперед ходил по землянке. „Есть одна идея“, — сказал он мне и по-мальчишески подмигнул.

Вечером по дивизии пронеслась весть, что разведчики захватили мост через широкую и многоводную реку. Это была работа группы Виктора Ильина.

Больше мне не пришлось встречаться с Ильиным. Во время нашего наступления по Прибалтике я зашел как-то попить воды к одному латвийскому учителю. На стене школьного класса висела небольшая красивая рамка, а в ней какая-то записка. Вот что я прочел: „Товарищ учитель! Вы боялись, что пропадут школьные пособия и художественная литература из вашей библиотеки. Мы все сохранили. Когда немцы перешли в контратаку, на всякий случай имущество запрятали в яму. Теперь уходим вперед. Наш старшина вам передаст книги и все прочее. Бой удался, можете спокойно приходить домой. Скажу откровенно: хотелось взять с собой „Войну и мир“ Л. Толстого, но не решился. С приветом к вам — командир взвода разведчиков лейтенант В. Ильин.“

— Эту записку я всю жизнь буду хранить, как память о благородном человеке, — сказал учитель. — Так она и будет висеть в рамке. Жалко, не успел его поблагодарить.

Дальнейшая судьба Виктора Ильина долго была мне неизвестна. Совсем недавно в вагоне поезда я увидел очень молодого младшего лейтенанта, лицо которого мне показалось знакомым. Потом выяснилось, что это бывший разведчик из группы Виктора Ильина, его школьный товарищ Салим Каюмов. Когда я спросил Каюмова о его бывшем командире, на его лице появилась ласковая улыбка.

— Виктор жив, — сообщил он. — Ему и еще некоторым нашим ребятам — Гурию Зиновьеву, Усару Джураеву и Васе Степаненко — повезло больше всех: они брали Берлин. Виктор Ильин командует ротой разведки, служат где-то в оккупационных войсках. За штурм Берлина он получил седьмую награду — орден Ленина. Сам видел его фамилию в Указе о награжденных. Недавно написал ему письмо... Если придется вам быть в Самарканде, зайдите в нашу школу. Василий Игнатьевич, наш учитель физики, покажет вам письмо Виктора.

Я записал адрес и пообещал при случае обязательно зайти в школу, где учились Виктор Ильин и его друзья. В конце марта по служебным делам я приехал в Самарканд. Вспомнилась просьба

Каюмова. В школе только что кончились уроки. Василий Игнатьевич Лаврентьев мне представлялся пожилым человеком с бородкой, но он оказался далеко не старым, с энергичными чертами лица, невысокого роста крепышом. На груди учителя красовалась медаль „За трудовую доблесть“. Узнав, что меня интересуют его воспитанники, в частности Виктор Ильин, он приветливо улыбнулся и отложил в сторону стопку тетрадей, которые собирался укладывать в портфель.

— С удовольствием расскажу, — ответил Василий Игнатьевич. — Виктор Ильин и его друзья — моя гордость. Четверо были у меня в школе после войны. Виктора — очень жалею — не видел. Его отец, партийный работник, переехал в другую область, Виктор приезжал к родным, но в Самарканде не успел побывать. Думаю, встретимся в это лето. Так с чего же начать? Да, письмо... Я его все время ношу в портфеле, ребятам читал... Вот оно... Мне кажется, много дополнять не придется. Он сам о себе все рассказывает... Почитайте.

„Дорогой наш Василий Игнатьевич! Когда мы, ваши воспитанники, были еще вместе, мы все мечтали вернуться в Самарканд, прийти в школу. Ребята уполномочили меня выстроить наше боевое войско, подать команду: „Смирно! Равнение на Василия Игнатьевича!“ и доложить, как воевали. Помню, мы сидели тогда в маленьком блиндаже, под городом Псковом, и хотя в открытое окно врывался холодный ветер, нам было тепло. Тепло от того, что вспомнили школу, вас, нашего самого уважаемого учителя. Перед нашими глазами вставал парк, где мы сидели на скамейке. Все было залито лунным светом. От деревьев падали тени. Мы молча сидели, вы — в середине. „Красота, Василий Игнатьевич! — почти шопотом сказал кто-то, кажется Вася Степанов. — Как в сказке!“ Тогда заговорили вы, сказали нам, что эту землю хочет отнять враг. Он оскверняет красоту, заливают кровью наши поля, издеваются над народом... Кажется, это были простые, обычные слова, но мы запомнили их навсегда. Впервые так глубоко понимали, что такое родина. На другой день, после уроков, все мы вместе пошли к вам. „Не можем сидеть за партами, когда там...“ Вы посмотрели нам в глаза, подумали и благожелательно: „Идите, сынки. Думаю, наши питомцы не подкачают. Огвоюете, буду ждать, как родных...“

Когда мы уезжали, помнится, вы сказали: „Война, ребятки, тоже школа. Большая школа!“ Повоевали — поняли. Действительно так. Трудная солдатская школа. Многому мы научились. Посмотришь на себя, — словно на три головы вырос. Мы, ваши питомцы, выдержали в школе войны, в большой жизненной школе, все испытания. И даже по школьным предметам. География — прошли сотни километров родной и чужой земли. Узнали десятки городов, сел, гор. Математика — точно высчитывали, когда пойдет вражеский поезд, чтобы его взорвать, когда меняются часовые, чтобы их без шума снять, когда напасть на немцев. История. Что касается истории — мы ее не только изучали, но, как и все советские воины, мы делали ее сами. Много можно рассказывать о солдат-

ской школе, но, мне кажется, вам и так ясно, что мы не согнулись, а закалились, тверже стали на ноги, приобрели зрелость, опыт жизни. Если кто-либо из ребят был в школе, вы видели, какие выросли молодцы. Они, наверное, дополнили мое письмо. Все же жаль, что не пришлось вернуться в Самарканд всем вместе... Вот бы произошла встреча!..

Теперь я упорно готовлюсь в академию. Иногда приходится не спать ночами, но это не беда. Через полгода сдам экзамены и тогда встретимся..."

Я понял — Виктор Ильин уверенно идет по жизни.

ДЖЕЙХУН, БЕЗУМНАЯ РЕКА

1.

Был серенький февральский денек. С ташкентских улиц еще не убралась зима. Моросил мелкий дождик, проходящие машины разбрасывали с асфальта жидкую грязь, голые сучья деревьев висели по-зимнему уныло. И все же, выйдя из гостиницы в то утро, я ощутила какую-то перемену: серый зимний день расцветился внезапно яркими красками.

Это приехали на свой традиционный ежегодный курултай хозяева республики — хлопкоробы. Это они расцветили улицы столицы яркими праздничными одеждами, внесли оживление, шумный говор, заполнили гостиницы, кафе, рестораны и магазины.

Вечером широко распахнулись двери Ташкентского оперного театра. И в электрическом свете еще ярче горели и переливались атласные и шелковые халаты делегатов, золотое и цветное шитье их тюбетеек, серебряные украшения в косах знатных мастериц урожаяев.

Курултай работал несколько дней. Делегаты подвели итог прошедшему году. Они по-хозяйски, деловито и спокойно обсудили свои возможности в новом году. Курултай принял решение: дать стране миллион сто шестьдесят тысяч тонн хлопка. Это была неслыханная до сих пор цифра урожая. Это была клятва хлопкоробов, подписанная делегатами и посланная ими Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Читатель! Когда ты будешь читать эти строки, знай, что на очередном курултае хлопкоробов Узбекистана делегаты рапортовали о том, что они сдержали свою клятву и вырастили более миллиона ста шестидесяти тысяч тонн хлопка! А это значит, что советские люди получили от них почти три миллиарда метров ткани, 150 миллионов пар чулок и носок, 120 тысяч тонн хлопкового масла, 22 500 тонн мыла и разную другую продукцию, вырабатываемую из хлопка.

На последних заседаниях курултая было особенно оживленно. Выступали делегаты, руководители Центрального Комитета партии большевиков Узбекистана, члены правительства республики. Ташкентские репортеры сбились с ног, лова в перерывах между заседаниями приехавших стахановцев, председателей колхозов, трактористов, беседуя с ними, строя на ходу корреспонденции, передавая в редакцию отчеты. Случилось и мне ненадолго отлучиться, чтобы подойти к телефону. И когда я вернулась в зал, стены театра дрожали от аплодисментов и восторженных криков. Вот тогда-то я и услышала впервые в новом его значении взметнувшееся к самому куполу, ставшее крылатым слово „Келиф“, имя завтрашней крупнейшей стройки Узбекистана и Туркмении, имя величественного сталинского плана покорения пустыни и безумной реки Аму-Дарьи.

В эти же февральские дни в Ташкенте проходил XIII пленум Центрального Комитета партии большевиков Узбекистана. Выступая на пленуме, секретарь ЦК товарищ Усман Юсупов докладывал: „... Источники орошения в Узбекистане можно разделить на два основных водных бассейна — Сыр-Дарьинский и Аму-Дарьинский... Исполком веков и до наших дней поливное земледелие в Узбекистане развивалось, главным образом, по источникам Сыр-Дарьинского водного бассейна, где мы имеем теперь 1 миллион 130 тысяч гектаров орошаемых земель.

Иначе обстоит дело с водными ресурсами и земельным фондом по Аму-Дарьинскому бассейну. Воды Аму-Дарьи по-настоящему еще не используются и почти целиком сбрасываются в Аральское море. На территории Кашка-Дарьинской, Бухарской и Самаркандской областей имеется свыше двух миллионов гектаров плодородных земель. Если бы удалось обеспечить эти земли водой, то они дадут урожай хлопка не меньше, а даже больше, чем земли Ферганской долины.

Необходимость регулирования Аму-Дарьи вызывается также тем, что ее избыточные воды причиняют много бедствий Хорезму и Кара-Калпакии. Во время паводков Аму-Дарья затопляет там культурные земли, разрушает прибрежные населенные пункты. Население Хорезма и Кара-Калпакии вынуждено ежегодно производить защитные работы в объеме нескольких миллионов кубометров.

Настало время заняться Аму-Дарьей по-настоящему!

С этой целью мы и внесли предложение о строительстве Аму-Дарьинской оросительной системы...

Я рад сообщить вам, что товарищ Сталин очень заинтересовался этой проблемой, подробно о ней расспрашивал. По предложению товарища Сталина и было принято постановление Совнаркома Союза ССР от 2 февраля 1946 года — об Аму-Дарьинской оросительной системе."

В ту волнующую минуту, когда весь зал поднялся и тысячи людей стоя приветствовали смелость большевиков, меняющих облик земли, — мысль вернула меня к недавно виденной и, казалось, позабытой

картине: Каршинская степь, одинокий колдес и суровая фигура старика туркмена, охраняющего воду. Он сидит возле своего дома; в вечерней полутьме не видно его лица, лишь овалом белеет борода и светится белый мех тельяка.

Каршинская степь. Одинокий ястреб низко носится над пустынной равниной, мерные движения его крыльев навевают щемящую грусть. Из-под ног наплывает горький аромат полыни. Пурпурное пламя заката и лиловые сумерки, надвигающиеся с востока. Кругом степь, выжженная солнцем, изрытая норками сусликов. Бурая земля и высохшая трава. Сумерки сгущаются. Слышится протяжный крик неуснувшей птицы.

Старый Юсуп Али медленно, нараспев, словно читая молитву, рассказывает мне страшную в своей простоте историю человека, прожившего половину жизни на берегу безумной реки — Аму-Дарьи, отнявшей у него семью, дом и землю, на которой он жил.

...Утром я понес убитого джейрана домой. Пришел к реке — дома нет, жены нет, детей нет, огород пропал. Все река взяла! Я бросил джейрана, пошел в пески, кричал, звал... никого нет. Тогда я ушел сюда.

Утешая старика (будто мои утешения нужны были старому одинокому человеку!), я нзивно думала, что его несчастье — случайность, стихийное бедствие, причиненное наводнением. Я не знала тогда причуд Аму-Дарьи, не знала, что эта река „берет“ ежегодно около двух тысяч гектаров культурной земли, меняя русло, бросается на берега, разрушая все на своем пути.

После курултая прошло много дней. В республике начался сев хлопка, и, как всегда в это время, ташкентцы жили особенно напряженно: работники партийных и советских организаций, художники, писатели разъезжались бригадами по областям республики для проведения массовой политической работы на полях. Театры и Госфилармония посылали туда целые коллективы. Из министерств в колхозы ехали агрономы, ирригаторы. Железнодорожники Ташкентской дороги продвигали скоростные маршруты с горячим и сельхозинвентарем. Опустели редакции республиканских газет — все уехали на сев.

Казалось, что в кипучем водовороте повседневных событий и дел не найдется места для воспоминания о Юсупе Али и той пустынной равнине, в которой он прожил годы со своим горем. Но жизнь сама напоминала мне о нем. Весенняя, дышащая полуденным теплом земля Ферганской долины, куда я поехала во время сева, бело-розовое цветение ее садов, дымки тракторов и тысячи колхозников на полях невольно возвращали меня в Каршинскую степь, к ее близкому будущему, в котором она станет такой же цветущей, как и Ферганские земли. На берегу Ферганского канала имени Сталина я думала об Аму-Дарье: придя в пустынную Каршинскую степь по новому каналу, который будет в два раза длиннее Ферганского, она оживит ее, и, может быть, Юсуп Али станет одним из первых хлопкоробов, которые снимут богатый урожай с новых колхозных полей.

Уже в 1953 году делегаты курултая будут рапортовать, что узбекские хлопководы вырастили и сдали государству два миллиона четыреста тысяч тонн хлопка-сырца, из которых советские люди сделают пять с половиной миллиардов метров хлопчато-бумажных тканей, 300 миллионов пар чулок и носок, 250 миллионов штук трикотажного белья и верхнего трикотажа, 100 миллионов метров искусственной шелковой ткани и много других вещей, имеющих огромное значение в народном хозяйстве и укреплении военной мощи нашей родины. И цифры эти удвоятся, когда завершится строительство Аму-Дарьинской оросительной системы.

Мне не раз приходилось проезжать через Аму-Дарью в районе Чарджоу. Я видела ее из окна вагона — стремительную, вспененную, почти безбрежную, манищую. Теперь, когда Аму-Дарья встала передо мной в свете своего будущего, в свете огней новых строителств, я подумала о том, что той реки, которая тысячелетиями мчалась через пустыню, мы скоро уже не увидим, что она изменит свой облик. И, отложив все дела, я решила в первый и последний раз проехать вниз по старой Аму-Дарье.

2

Еще в Ташкенте, обсуждая план поездки с бывальми людьми, а и мой спутник — московский корреспондент — выслушали несколько противоречивых суждений о характере Аму-Дарьи и скорости передвижения по этой реке. Оптимисты утверждали: „Лихо прокатитесь... От Чарджоу до Нукуса самое большое — трое суток парходом...“ Другие скептически улыбались и вступали в спор с первыми: „А три недельки не хотите? Чай, ехать-то вниз по течению, а не вверх...“ Третьи примирительно говорили о предстоящем десятидневном путешествии.

Но людям свойственно больше верить в хорошее, чем в плохое. Рассчитав свое время и доверясь опыту наших оптимистически настроенных друзей, мы купили билеты на самолет, летящий в Нукус, только до Чарджоу, чтобы оттуда поехать в Нукус парходом.

В Чарджоуском управлении пароходства старший диспетчер долго раздумывал, каким парходом отправить корреспондентов. Сначала он молча разглядывал какую-то бумажку, потом ходил в диспетчерскую и с азартом кричал по телефону:

— Фараб-пристань!.. Пристань... Река! Алло! Где Максим? Где? На шестом посту? Кринолин готов? Ага, ладно! Надивайте!

И, вернувшись, решительно объявил:

— На „Максима Горьком“ с Разметовым поедете. Лучший буксирный пароход флотилии. Все время вымпел держит.

— А когда он отправляется?

— Когда отправляется? Гм... Должен сегодня... А может и завтра...

Последняя фраза прозвучала не совсем уверенно. Он взглянул на часы.

— Девять... На всякий случай я вам советую ехать в Фараб на пристань и прямо на „Максим“. Сейчас на тот берег пойдет „Папанин“, на нем и переправитесь через реку.

— А разве пристань в Фарабе? Нам говорили, что пароходы причаливают на этом берегу, в Чарджоу!

Диспетчер улыбнулся.

— То было несколько лет назад. А сейчас мы перебрались на правый берег. Отсюда нас прогнала Аму-Дарья.

Удивленные рекой, которая гоняет с берега на берег целые пристани, мы поехали к причалу, где дымил труба небольшого колесного буксирного парохода. Капитан „Папанина“, широкоплечий узбек с опущенными книзу длинными усами, радушным жестом указал на капитанский мостик.

— Располагайтесь. Сейчас отчалим.

Спустя несколько минут „Папанин“ вышел на середину реки.

В сизой дымке пыльного тумана теряются песчаные берега. На них едва угадываются темные полосы зелени — огороды чарджоуских железнодорожников и водников. Широкая желтая лента реки, перекрученная множеством водоворотов, стремительно уходит под ажурное кружево перекрытий железнодорожного моста и дальше — к северу, сливаясь на повороте с желтизной окружающих песков. То там, то здесь из-под воды выступают островки, разделяющие реку на рукава.

„Папанин“, лавируя среди них, медленно движется по течению, проходит между массивными устоями моста и, не меняя курса, минует пристань Фараб. Мы в недоумении идем к капитану. Он сидит в штурвальной у стола, держит в одной руке пиялу с чаем, пальцами другой делает ритмичные движения, приговаривая между глотками: „Лева... лева...“ Все внимание вахтенного рулевого устремлено на руку капитана.

— Почему мы не причаливаем, капитан? Ведь уже пристань.

Капитан кивает на скамейку, наливает в пиялу чай, протягивает нам. Все его жесты медлительны, размеренны. И говорит он неторопливо, подбирая слова:

— Нам нужно спуститься на несколько километров вниз, забрать баржи и привести их на пристань. Не беспокойтесь, скоро будем в Фарабе. У нас всего минут на сорок работы. А на „Максим“ вы всегда успеете. Он еще дня три будет стоять. И зачем вам на „Максима“ ехать? Поедем со мной, „Папанин“ не хуже „Максима“.

Ошеломленные перспективой три дня болтаться в неуютном Фарабе, теряя драгоценное время, мы, сославшись на авторитет диспетчера, попытались возразить, что „Максим“ должен отчалить сегодня.

— Разметов не поедет в такую погоду. Ветер...

— Причем тут ветер? Мы ж не в море выходим.

Капитан снисходительно улыбнулся нашему невежеству.

— В такую погоду на меляках насидишься.

И как бы в подтверждение его слов, „Папанин“ резко толк-

нулся носом и бортом о песок. Капитан, утратив свою неторопливость, сорвался с места, задергал звонок и заорал в переговорную трубку механику:

— Задний... задний...

Колеса парохода на мгновение остановились, затем завертели в обратном направлении. Но было уже поздно. Мы прочно сидели на меляке посреди реки. И мгновенно на палубе возле огромного бревна засуетились люди. На один его конец закрепили цепь, другой спустили в воду со стороны мели. У этого „рычага“ собралась вся пароходная команда, прибежала туда и повариха, на ходу вытирая о фартук руки.

— Раз, два — взяли...

Под этот классический возглас волжских бурлаков команда „Папанина“ добрый час отпихивала бревно пароход от мели. Колеса яростно крутились, выгребая лопастями жидкий песок. Капитан мрачно сидел на мостике и пил чай. Потом он поглядел на воду и крикнул что-то по-узбекски. Бревно было вытащено на палубу, люди разошлись. Повариха, поправив растрепавшиеся волосы, нырнула в камбуз, и на плите что-то зашипело, затрещало. Капитан покосился на наши растерянные лица.

— Ничего... Скоро снимемся. Течение переменилось — нас подмоет.

В ожидании, пока нас подмоет, мы пошли бродить по палубе и остановились возле бревна, с которого матрос снимал цепь. Это был ствол большого кряжистого дерева. Почти вся кора на нем была ободрана от трения о борта, но где-то, повыше середины, на кажущемся мертвым стволе зеленел кустик молодых, нежных листьев.

— Откуда на бревне листья?

Матрос, гремя цепью, поглядел на кустик.

— Оно же все время в воде... Посчитайте, сколько раз на меляки садимся — вот и растут.

В этот день мы убедились в правдивости слов старого матроса. „Папанин“ еще дважды садился на мель, еще дважды бревно выполняло свое назначение, еще дважды мы ждали по часу и полтора, пока нас подмоет течением, прежде чем взяли баржи и причалили к пристани рядом с „Максимом Горьким“.

Солнце уже склонялось к западу. Голодные и измученные, мы вежливо поблагодарили капитана за перевоз и перебрались на „Максим“. Так состоялось наше знакомство с Аму-Дарьей. Отдыхая в этот вечер в каюте, перебирая впечатления и вспоминая наших ташкентских друзей, мы подумали, что, пожалуй, были правы те, кто сулил нам трехнедельное общение с великой среднеазиатской рекой.

Первое утро на „Максиме“. Познакомились с капитаном Ходжи Разметовым — небольшим, худеньким и подвижным человеком. На его желтом лице резко выделялись черные усыки, лихо закру-

ченные вверх, и лихорадочно блестящие глаза. Он представил нам свою жену Зою и дочь Нурхон. Зоя — милостивая узбечка, прекрасно говорящая по-русски, завладев нашим вниманием, сразу же ввела нас в курс пароходных событий.

Она сообщила, что „Максим Горький“ выполняет ежемесячные планы на 115—120 процентов, что капитан заболел малярией, и поэтому на пароход прислали второго капитана — Давлетова, который будет помогать Ходжи, что на кухне можно готовить, что старший механик Володя — недавно из армии, что они сами из Хазараспа, и у них там хозяйство.

Выслушав все это, мы осторожно задали интересующий нас вопрос: когда отправится „Максим“ и долго ли мы будем ехать? Зоя замолчала. Капитан задумался.

— Трудно сказать, сколько времени будем идти. Рейсы по-разному выходят. Прошлый раз спустились до Чалыша (Ургенцской пристани) за четверо суток, а перед этим шли шестнадцать суток. Мало воды было и ветер мешал. Отправимся, наверное, завтра. Нам три баржи с горючим дают, так их еще не залили. А кринолин сегодня сделают — в прошлый рейс опять его разнесло. (Кринолин — это деревянная решетка, окружающая корму буксирного парохода, назначение которой — предохранять корму от удара барж, когда пароход садится на мель, а баржу гонит на него силой течения).

Неожиданно рядом прозвучал незнакомый голос:

— Вы, кажется, очень спешите в Нукус?

Мы оглянулись. Человек, задавший этот вопрос, сидел, пристроившись на ступеньке лестницы, ведущей на мостик. Около него стоял крошечный чемоданчик и огромный, туго набитый рюкзак, из которого высовывался угол хлебной буханки. Сам он был маленький, сухонький, востроносый, весь в мелких морщинках, с бритым черепом, и удивительно смахивал на нахохлившуюся птицу. Не дожидаясь ответа, он вскочил и протянул руку:

— Иван Ильич Шубин, орнитолог. Еду в Аму-Дарьинский заповедник. Простите за навязчивость. Я подумал, что вы в этих местах впервые и, может быть, я смогу быть вам полезен. А кроме того, — Иван Ильич лукаво улыбнулся, отчего его лицо сразу похорошело и все морщинки засияли, — мы бы все равно познакомились не сегодня — завтра. У нас на Аму-Дарье так: пассажиры за дорогу знакомятся, сживаются, бывает, что молодые успевают влюбиться. Я уже лет десять езжу по этой реке, знаю...

Подхватив одной рукой свой багаж, он увлек нас на корму и, понизив голос, сказал:

— Насчет отправления вы капитана не спрашивайте. И баржи готовы, и кринолин в порядке. Это — пустые отговорки. Все дело в ветре. Он рисунок воды стирает. Вы знаете, как на Аму пароходы водят? Нет? Так вот я вам расскажу...

— Аму-Дарью звали по-разному: древние иранцы — Вахш, римские историки именовали ее Оксус, арабы — Джейхун, грязная речка. Последнее, пожалуй, не без основания. Посмо-

трите, — Иван Ильич кивнул на воду. Она тихо плескалась о борт, желтая, мутная, непроницаемая ни для человеческого зрения, ни для солнечных лучей. — Ведь в одном кубометре этой воды в половодье содержится около четырех килограммов высушенного ила. Но вернее всего называть Аму безумной рекой. Так ее и зовут последние столетия: Аму-Дарья в переводе — безумная река. У нее нет ни фарватера, ни берегов. Куда хочет, туда и течет. Это происходит потому, что берега и само дно из песка и ила, а скорость течения огромна. Вот, к примеру, сейчас пароход пойдет вдоль правого берега, а через час здесь уже мель, и фарватер перешел к левому берегу. На мой взгляд, здешние капитаны просто герои. Они возят грузы в Хорезм и Кара-Калпакию и, представьте себе, даже планы перевыполняют. У них главный ориентир — рисунок воды. Так и „читают“ — где потемнее, где посветлее, где рабит или водовороты крутятся. Здесь только местные жители и могут работать. На моей памяти одного капитана с Волги прислали по фамилии Вывихвост. Месяца два поработал, его Вывигаком прозвали — что ни рейс, то беспрерывно на меляках сидит и гаки на баржах рвет. Так и уехал на Волгу. А наши — ничего, плавают. Они почти все из каючников — хазараспские да ханкинские. Здесь два района с потомственными водниками. У одних усы кверху закручены, у других — книзу. Так и различают: эти из Хазараспа, те из Ханков.

Обговорив Аму от древних арабов до капитанских усов, наш новый знакомый принялся устраиваться на палубе. Из недр его рюкзака появился потертый коврик, одеяло, подушка. Все это он раскладывал со вкусом человека, создающего себе долговременный уют. Над головой он повесил на шпигате чистую полотняную тряпицу, затенившую его уголок, вынул чайник, пиалу, толстую книгу. И возле Ивана Ильича стало и впрямь уютно, особенно когда к нам подбежал любимец команды, лохматый Шарик и, присев на задние лапы, завилал хвостом с застрявшими в нем волочками.

— Ну, я вздремну, пожалуй, вы уж меня, старика, простите, — Иван Ильич сладко зевнул, — время обеденное. А вам советую не думать о сроках командировок. Положитесь на Аму да на капитана. Не пожалеете — любопытного много будет. Втягивайтесь в жизнь. А отчалим мы к вечеру... ветер стихает.

Последовав совету Ивана Ильича с покорностью обреченных, мы начали активно втягиваться в жизнь: обживали каюту, разложив на лавках и столе рукописи и блок-ноты, мыльницы и одеколон, пузырьки с чернилами и ручками — весь нехитрый корреспондентский скарб, помогали Зое печь тонкие, пропитанные маслом лепешки, пили чай с обоими капитанами, записывали в блок-ноты их несложные биографии, — жизненные пути батраков-каючников, которым советская власть дала высокое звание капитанов и заслуженный почет, бродили по Фарабу, ели шашлык в чайхане, возле колодца с ослепительно-чистым деревянным срубом и пиа-

лой на крышке, символизирующей ценность воды в обретающей пустыне и отношение к ней.

На заходе солнца мы вернулись к причалу и застали на „Максима“ суету. Капитаны сидели на мостике.

— Во-время пришли. Сейчас счалим баржи и отправимся.

Морщинки Ивана Ильича сияли.

— Я вам говорил, сегодня отправимся... А завтра уж ветра не будет. Глядите — закат какой ясный.

Солнце, уходящее за пески, теряя свой ослепительный блеск, становилось оранжево-красным, и было оно похоже на огромную урючину, катящуюся по небу. А с другой стороны, из-за горизонта, медленно поднималась прозрачная, неправдоподобная в солнечных лучах луна.

— Чудесная погодка, — радовался Иван Ильич, — при таком освещении километров десять успеем отмахать, прежде чем на восток встанем.

4

Действительно, ночевали мы в десяти километрах от Фараба. Всю ночь за открытым иллюминатором шелестел камыш, плескалась вода и орали, словно ошалелые, лягушки. На рассвете, когда луна еще не ушла за горизонт, наверху, по палубе, затопали, застучали, зашкрипели деревянные сходни, в иллюминаторе, находящемся на уровне берега, замелькали ноги матросов, вытаскивающих из песка кошки с цепями, спустя несколько минут застучал мотор, и берег поплыл, удаляясь. Значит, поехали дальше.

С утра выбрались на мостик. На реку начинается наступать пустыня. На берегах — лишь узкие заросли камышей. Они — как кайма на покрывале барханов, теснящих Аму-Дарью. Кое-где кайма обрывается, барханы подступают к воде, и с их морщинистых склонов в реку скатывается мощными струями песок, образуя ряд потоков. На левом берегу начинаются Кара-Кумы — „Черные пески“. Справа от нас Кызыл-Кумы — „Красные пески“. Максим Горький идет километр за километром вдоль правого берега, и рядом с нами движется яркая панорама красноватых барханов, прерывающихся белоснежными пятнами солончаков. Небо над нами не голубое, нет, оно такого цвета, будто не пожалев ультрамарина, по нему прошелся своей кистью Верещагин.

Оба капитана на мостике, но командует Давлетов. Его круглое лицо с ямочками на щеках сосредоточено. Усы воинственно торчат кверху (он тоже из Хазараспа). Синий китель собрался складками на объемистом животике. Он внимательно смотрит на воду и время от времени поднимает правую руку, шевеля сложенными вместе пальцами.

— Лева... лева... права...

Следя за движениями его пальцев, рулевой перебирает ручки штурвального колеса.

На пароходе идет обычная жизнь. У нас над головами с крыши штурвальной свешиваются несколько пар черных пятков. Это

юнга Чарджоуского училища, отрабатывающие практику на „Максиме“, загорают, подставив солнцу голые животы.

Внизу, на палубе, у дверей каюты старший механик Тарануха что-то втолковывает своему помощнику Косте Куликову. Видно, как в каюте яростно машет простыней, изгоняя налетевших за ночь комаров, жена Таранухи — Маша.

На самом носу стоит пожилой матрос. Одной рукой он непрерывно погружает за борт наметку — длинный шест, ритмически поднимает другую, показывая то четыре, то три, то все пять пальцев. Он измеряет глубину. Возле него чинит бредень кочегар Федя. Вся машинная команда, начиная со старшего механика, — страстные рыболовы, и мы уже сталкивались с Таранухой на первой стоянке итти бродить сомят. Иван Ильич сидит в своей импровизированной палатке и с увлечением читает книгу. Он шевелит губами и время от времени делает заметки в тетради. За подходом, натянув тал, движутся три баржи, счаленные бортами. Мы везем горючее для тракторов на хлопковые поля Хорезма и Кара-Калпакии. На баржах безлюдно. Видны только силуэты рулевых, да женщина развешивает белье.

Далеко впереди ныряет одинокий челнок. Он почти сливается с желтизной реки, но в нем можно различить человека, машущего рукой. Капитан Давлетов увидел его, кричит в трубку: „Самый малый...“ Пароход прижимается к берегу, гремит цепь, и два матроса, перемахнув через борт, цепляют кошки в прибрежном кустарнике.

— Что случилось?

Разметов пожимает плечами.

— Бакенщик говорит — прохода нигде нет.

Давлетов молча уходит с мостика, через минуту он уже на корме, крихтя спускается, цепляясь за веревку, в челнок бакенщика. Хрупкая лодочка колышется под его тяжестью, черпает воду. Давлетову подают шест, челнок быстро удаляется.

— Куда же капитан уехал?

Мы стоим около Ивана Ильича. Он отрывается от книги.

— Проход искать поехал.

— Но бакенщик же сказал, что пройти нельзя.

Иван Ильич ухмыляется.

— Мало ли что бакенщики говорят. Он, наверное, часа два назад делал промер, а река где-нибудь уже промыла. Бакенщику не угоняться за Аму-Дарьей. Здесь ведь бакенная служба весьма символична. Аму ей не подчинится, она живет сама по себе.

Проходит минут сорок. Воспользовавшись остановкой, кочегары и масленщик лезут осматривать колеса и поднимают невероятный стук молотками. На палубу выходит Тарануха, щурится на солнце, зевает, кричит:

— Капитан! Долго, что ли, будем стоять? Может успеем рыбы набродить к ужину?

Разметов отзывается с мостика.

— Погоди, Давлетов возвращается.

Появляется вспотевший, в расстегнутом кителе и съехавшей на бок ушанке, Давлетов.

— Можно отчаливать.

Пересекаем реку и снова идем без остановки, но уже вдоль левого берега. Здесь пески отступают от реки, зеленеют небольшие оазисы. Это остатки некогда сплошной полосы орошенных земель и поселений, соединявших еще в средние века Хорасан с Хорезмом. „Максим Горький“ проходит мимо тугая — густых зарослей деревьев и кустарников. Кое-где на полянках важно прохаживаются пестрые фазаны. Мы любуемся ярким контрастом красок зелени, воды и лучей заходящего солнца и начинаем думать, что не так уж худо плавать по Аму-Дарье, как вдруг раздается резкий крик капитана: „Права! Права!“ Старик, стоящий на носу с наметкой, угрожающе поднял один указательный палец — меля. Пароход резко сворачивает вправо, но не успевает натянуть троса барж: они стремительно летят на меляк и останавливаются.

С полчаса мы топчемся на одном месте, пытаюсь стащить баржи с мели, но постепенно сила течения заносит пароход туда же, и Давлетов дает команду отдать гак баржам и причаливать ниже к берегу. Трос падает в воду, и его тянут с баржи, но он не поддается — видно, зацепился за что-то. Тогда с баржи прыгает в реку женщина. Мы тихо ахаем. Но она лишь чуть подобрала юбку и стоит по колено в воде, одной рукой подтягивая трос. Снизу, с палубы, Иван Ильич машет нам рукой:

— Видали такую речку? Через полчаса возле баржи совсем сухо будет. В гости к ним пойдем!

Капитаны смеются. Мы изумлены.

— Что же дальше будет?

— Подождем у берега. Река их подмоет. А сейчас подойти нельзя. Сами на меляк сядем.

Ждем час, другой. Тарануха с кочегарами отправляются с бреднем в тугай. Видно, как полукилометром ниже нас они лезут в воду, начинают бродить. Капитаны расходятся по своим каютам. Иван Ильич прогуливается с нами по палубе, поглядывая на баржи.

— Прочно сидят... Хоть бы к утру снялись. Вот я вам расскажу одну такую историю.

Мы пристроились на борту свесив ноги, закурили.

— Несколько лет назад был я с экспедицией в Кабаклинском тугае. Это километров на 70 ниже Денау, а Денау тут недалеко. Работали там все лето. И вот однажды побрел я вниз берегом — показалось мне, что в ту сторону птица одна полетела, какой в этих местах не должно быть. Иду. Глядь — так метрах в двухстах от воды баржа на песке стоит. Думаю — что за чорт? Даже глаза протер. И впрямь баржа. Возле нее два верблюда, туркмены копошатся в хурджуках. Подхожу ближе, думаю, может, мерещится. Действительно — баржа. „Москвичка“ написано. На палубе две

девчины, веселые такие, чай пьют. Я стою как остоленелый. А девчата мне кричат:

— Вам чего, гражданин — сахару или конфет? Печенье „Ленч“ есть, и сливочное...

Я к ним:

— Да кто вы, мол, такие и что тут делаете?

Оказалось, с ними вот что получилась: вел их из Чарджоу буксир. В этом месте, где я их встретил, раньше фарватер был. Налетела „Москвичка“ на мель, буксир крутился, крутился возле нее, ничего не мог сделать. На другой день ее песком занесло. Не стоять же пароходу неделю... Ну, капитан и ушел, подумав: снесет баржу — кто-нибудь другой ее подцепит. А еще через три дня Аму повернула в сторону и оставила „Москвичку“ на берегу. А на той барже кондитерские изделия везли. Вот девчата и открыли кондитерский магазин, чтобы продукция не пропадала. От покупателей отбою не было. Вся пустыня узнала про сахар с конфетами. Потом их и водники обнаружили, стали причаливать к берегу и ходили на „Москвичку“ сладости покупать. Взял и я коробку мармеладу. После уж слышал в Чарджоу, месяца через два, что половодье началось, река тот берег смыла, „Москвичку“ снесло, и поймали ее где-то за Кабаками.

Мы хохотали, вытирая слезы.

5

Выйдя утром из каюты, мы с удивлением огляделись вокруг. „Максим Горький“ стоял у песчаного берега. От вчерашнего тумана не осталось и следа. За нами, натянув газ, мирно покачивались баржи. У самого берега стояли две небольших лодочки, а на песке, возле костра, сидела группа людей. Они разговаривали с Давлетовым, присевшим рядом на корточках, что-то жевали. На песке были разбросаны десятка полтора больших картонных ящиков с яркими этикетками.

На палубах безлюдно, только юнги возятся на крыше штурвальной, складывая матрасы и одеяла (они вроде Ивана Ильича предпочитают каютам романтические ночевки под небом). У палатки Ивана Ильича одинокий Шарик слизывает с коврика крошки. Из машинного отделения доносятся голоса.

Из душевой появился Иван Ильич с полотенцем на шее. Капельки воды скатываются с его бритого черепа.

— Где мы и что вообще происходит?

— Вы все проспали, друзья мои! Тут у нас столько событий... Во-первых, ночью баржи наши сорвались и уплыли, еле-еле их догнали. Во-вторых, здесь очень тяжелый пережат, взрывная команда сидит. Так сказать, скорая аму-дарьинская помощь. Скоро нам такую пирогушку покажут! Представление...

Успрашиваемся на мостике ожидать „представление“.

Взрывная команда долго и с апетитом завтракает, пьет чай, встав в это предприятие Давлетова, потом пересыпает что-то из

ящика в ящик и, пачонец, погрузив свой багаж в лодки, едет на километр ниже по течению. Вместе с ними отиравается и Давлетов. Видно, как движутся челноки, ныряя меж седых ключевых пены.

Ждем долго. И когда уже начинаем терять терпение, на горизонте один за другим поднимаются водяные столбы, и ветерок приносит слабые звуки далеких взрывов, как будто лопаются детские хлопушки. Мы смеемся над Иваном Ильичом:

— Не очень эффектное зрелище.

— Далеко отъехали, — оправдывается он.

На мостик поднимается Разметов. Его, видимо, только что оттрепала малярия, сквозь желтую кожу лица пробивается румянец. Несмотря на жаркий полдень, он накинул поверх кителя теплый узбекский халат. По его команде отчаливаем и мчимся с баржами туда, где работали взрывники. Иван Ильич перегнулся через перила мостика, смотрит на воду и дергает меня за рукав.

— Вот здесь самые меляки. Любопытно — проскочим или нет?

Я тоже смотрю на воду, но не вижу ничего, кроме пенистых бурых волн, обгоняющих пароход.

— Почему мы так быстро идем, Иван Ильич? Ведь можно намель наскочить.

— Здесь надо проскочить как можно быстрее, чтобы река не успела занести песком глубину, что взрывами подняли. В этом деле секунды решают. Ого, — оглядывается назад Иван Ильич, — а за нами еще один буксир тянется. Кто бы это?

Действительно, следом за нами так же стремительно несется пароход, ведущий две баржи.

— Похоже, что „Папанин“, — заинтересованно разглядывает его Разметов... — Он и есть, торопится за нами пройти.

„Максим“ благополучно минует пережат. Мы пришвартовываемся к берегу, где нас ждет Давлетов и взрывная команда. Берем на борт капитана и продолжаем путь, обменявшись приветствиями со взрывниками. „Папанин“ уже совсем близко. Видно капитана, сидящего на мостике. Он смотрит в нашу сторону; поровнявшись с нами, машет рукой в знак приветствия, кричит в рупор:

— Говорил вам, поедем на „Папанине“!

Наши капитаны смеются. „Папанин“ обгоняет нас, и вскоре скрывается за поворотом реки. Облако дыма из его трубы медленно тает в воздухе. Разметов иронически смотрит ему вслед:

— Ненадолго обгонит.

Зоя приносит чайник и пиалы. Капитаны усаживаются за чай.

Проходим мимо развалин старой бухарской крепости Дая-Хатын. Когда-то она служила границей между бухарскими владениями и Хивинским ханством. С высоты мостика открыт вид на Аму-Дарью. Широкими излучинами стремится она к северо-западу. Берега, то высокие и обрывистые, то плоские, покрытые зелеными тугаями, сливаются с туманным горизонтом. А кругом, куда хватает глаз, — пустыня, ультрамариновое небо и солнце, горячее южное солнце. И кажется, что здесь сконцентрирована вся лучистая энергия

вселенной, и нет конца этому солнечному простору великой азиатской реки, обаятельной в своем непостоянстве, покоряющей людей своей властной волей и силой.

6

Приключения начались с утра. Только успели мы отчалить от берега и пройти несколько километров, как за поворотом реки наткнулись на „Папанина“. Его баржи занесло на меляки. Натянув трос, буксир старался стащить их на глубину. С „Папанина“ увидели нас. Над рекой разнесся длинный, прерывистый гудок — просьба о помощи. Давлетов, хитро улыбнувшись, дал команду расчалить наши баржи и поставить их гуськом. Чтобы не мешать ему, мы побежали к Ивану Ильичу.

— Зачем баржи расчаливаем?

Он помолчал, соображая, поглядел на обстановку и, догадавшись, расхохотался.

— Хитер наш капитан! Хочет обогнать „Папанина“, а тот загородил фарватер, и мы не можем пройти со счаленными баржами. Вот проскочим здесь гуськом, тогда оставим баржи у берега и пойдем на помощь.

Иван Ильич угадал. Произведя все маневры и оставив баржи у берега, „Максим“, не спеша, вернулся к „Папанину“. В результате двухчасовых совместных усилий и сложных маневров буксирам удалось стащить баржи с мели. После этого мы счалили свои баржи и торжественно отправились дальше впереди „Папанина“. На все эти операции ушло часов пять. Мы мрачно слонялись по палубам, наблюдали за маневрами и с тоской поглядели вслед двум „Дугласам“, проплывшим серебристыми птицами на север. Они заставили нас вспомнить и об истекающих сроках командировок, и о секретаре редакции, тшкетно ожидающем корреспонденции из Хорезма, и о старом плакате, виденном в аэровокзале, который извещал, что „авиация — лучший способ передвижения“.

Впрочем, до вечера мы отмахали километров пятьдесят. Об этом радостно сообщил нам Иван Ильич, пришедший звать нас к ужину.

— Чего носы повесили! Завтра днем к Дуль-Дулю подъедем, а там уж как по маслу дело пойдет — за Дуль-Дулем Аму должна быть хорошая.

* * *

Вторые сутки стоим у берега. Ветер. И какой ветер! Реки почти не видно за сплошной завесой песка, несущегося из Кара-Кумов. Кругом все серо. Правого берега не видно совсем, солнце плывет по небу тусклым красным шаром, на который можно смотреть, не мигая. На палубу выйти нельзя — сразу залепляет песком уши, глаза. Он скрипит на зубах, набивается за воротник. На палубах пусто, даже веселый Шарик исчез куда-то. Иван Ильич упрямо высидел вчерашний день в своем шалашике, и только сегодня после длинных уговоров перекочевал к нам в каюту, прита-

жив вместе с вещами килограмма два песка. Вторые сутки валяемся по койкам. Перечитали все журналы, имеющиеся в наличии у юнги Вити, рассказывали все анекдоты и совершенно одурели от неподвижности и безделья.

К вечеру к нам забрели капитаны. Их тоже томит обстановка и начинает волновать вопрос выполнения плана.

— При такой погоде рискуем переходящий вымпел потерять, сколько еще стоять будем?.. А идти нельзя — воды в реке мало, — высказывает свои опасения Разметов.

Давлетов качает головой и щелкает языком.

— Н-да...

Видо обмениваемся замечаниями о погоде. Молчим. Я начинаю подсмеиваться над оптимизмом Ивана Ильича, предсказавшего, что мы еще вчера должны были пройти Дуль-Дуль. Он сердито отшучивается.

— Мы уже Тюя-Муюн проехали, вы проспали.

Снова молчим. В закрытые иллюминаторы с подветренной стороны стучит песок, мелкие камешки. Протяжно воет ветер. Невольно возникает тягостное ощущение оторванности от жизни, заброшенности. Начинаем чувствовать себя почти Робинзонами.

— Когда же это кончится? — вздыхаю я.

Иван Ильич смотрит на меня в упор, о чем-то задумавшись. Потом неожиданно вскакивает с койки, делает несколько шагов по каюте и завершает вслух свою мысль:

— Кончится, когда Келиф построим. Тогда кончится.

Капитаны оживляются, заговаривают наперебой:

— Да, да, Келиф... и вторую очередь в Тюя-Муюне. Вот тогда судоходство будет хорошее. Воды в Аму-Дарье будет всегда много.

Мы удивленно переводим глаза с Ивана Ильича на капитанов, еще не совсем понимая их. При чем же тут судоходство?

И разом пришло воспоминание о залитом огнями зале Ташкентского оперного театра, где впервые прозвучало имя Келифа, древнего города в верховьях реки, имя величественного сталинского плана покорения Джейхуна.

Сквозь века до наших дней прошли легенды и предания о тех временах, когда люди пытались остановить наступление пустыни и обуздать непокорную реку. Одна из этих легенд рассказывает, что в XVI веке из Аму-Дарьи был выведен канал, и девятьюстами лет вокруг него цвели оазисы, золотились нивы. Наступавшая пустыня оттеснила воду, засыпала сады и селения. Правда ли эта легенда или она родилась из мечты человека — не все ли равно! Но в дни составления нового пятилетнего плана народ вспомнил о ней, когда решался вопрос — как заставить служить человеку сотни тысяч гектаров неорошенных земель на западе Узбекистана и востоке Туркмении.

Вблизи Келифа, между городами Термез и Керки, Аму-Дарью перегородит гигантская плотина. Подняв уровень реки на двадцать метров, келифский заслон направит воду в Аму-Дарьинский канал. Он понесет ее на 500 километров жаждущим землям Кашка-Дарь-

инской и Зеравшанской долин. Ниже, близ города Чарджоу, будет выстроено Денгиз-Кульское водохранилище емкостью более пяти миллиардов кубометров. Оно будет регулировать уровень воды в реке и во время обмеления отдавать свои водные запасы для орошения полей Хорезма, Кара-Кумпакки и Ташаузской области.

— Вот тогда мы с вами прокатимся на „Максима Горьком“, — мечтает вслух Иван Ильич, — двое суток — и мы в Нукусе... Никаких тебе взрывников, вроде как по Волге. Тогда и Вырвизвоста пригласим, так и быть, пусть поплавает!

Мы смеемся. Имя Келифа вырвало нас всех из атмосферы необитаемого острова и, помечтав еще о будущем Аму-Дарьи, мы идем ужинать в таком радужном настроении, будто Келифская стройка уже завершена, завтра диспетчер Денгиз-Кульского водохранилища подкинет нам несколько сот тысяч кубометров водички и мы быстро доберемся до Нукуса.

ХЛОПКОРОБ ТИЛЛЯ ТУРАНОВ

Очерк

I

Началось это с двухсот килограммов суперфосфата, которые привез из Янги-Юля председатель колхоза. Дело было в 1932 году — в третью весну колхоза имени Воробилова. Взрослые работали на поле. Арбу окружила детвора. Какой-то досужий мальчишка ковырнул пальцем мешок и восторженно завопил:

— Унгарбай-ака привез соль!

— Чего орешь, — умерил его пыл председатель, — какая тебе соль?

Вечером бригадиры и звеньевые пробовали белый порошок на ощупь, нюхали, качали головами, слушая рассказ председателя о чудодейственных свойствах этого порошка. Но взять его никто не отказался.

— Никто не видел, чтобы землю солили, а она дала бы больше хлопка, — усмехнулся старик Мумбай.

— А трактор ты раньше видел? — разозлился председатель. — Теперь сам требуешь, чтобы весь твой участок пахали трактором.

Тилля Туранов шел с совещания, мучимый сомнениями. Если этот белый, искристый порошок в самом деле так хорош, как говорил Унгарбай, то надо его взять сейчас же, пока другие не надумали. А вдруг посолишь поле, а там ничего не вырастет? Эти мысли не давали ему покоя весь вечер.

Очень много труда вложил Тилля в землю за свою жизнь. Хлопкороб и сын бедняка хлопкороба, он дорожил каждым кустиком, взошедшим на поле. Тут был его пот, его труд, тут была его борьба за жизнь.

В колхозе Тилля прослыл старательным работником. Каждый бригадир зазывал его к себе. Потом он сам стал звельевым. По-прежнему был Тилля тих и скромен, упорен и неутомим в работе. Почувствовав себя одним из хозяев большого колхозного поля, он

стал как-то сосредоточенней. Глядя, как работают люди, искал нового и, найдя, делился своей находкой с другими. Однажды он сравнил корни хлопчатника с двух полей: одно было вспахано трактором, другое — омачом. На первом корни оказались прямые, на другом скрюченные. Тогда он погребовал, чтобы весь его участок пахали трактором:

— Это дает больше хлопка.

Разговор с Унгарбаем о новом удобрении растревожил звеньевого. Всю ночь он кряхтел, ворочался с боку на бок. Утром, чуть занялась заря, Тилля, натянув сапоги, решительно зашагал к навесу, где стояла арба с мешками.

Кишлак только просыпался. Из-за дувалов доносился шорох шагов, вились дымки мангалов. Где-то плакал ребенок. Жизнь пока шла внутри дворов. Улица была пустыня. Тилля торопился.

У навеса были уже люди: председатель и участковый агроном, прикативший чуть свет в кишлак. Поздоровавшись с ними, Тилля подошел к арбе, молча взвалил мешок на плечи и, тяжело ступая, направился к полю. Председатель удовлетворенно крякнул, поднял другой мешок и двинулся следом. Агроном пошел за ними и не уходил с поля, пока весь суперфосфат не был внесен в почву.

На участок Туранова приходили люди, спрашивали, что он будет делать, если ничего не взойдет.

— Взойдет, — отвечал за Тилля председатель. — Не у купца взял я порошок. Советская власть дала нам его. Разве когда-нибудь она обманывала нас?

За ужином жена сказала:

— Люди говорят, что ты соль в землю посеял. Старики смеются, нехорошо.

Тилля огорчился — его Меизгуль тоже не верит в белый порошок, но он верит — хороший хлопок вырастет на том месте, где сегодня запахали новое удобрение.

И все-таки с тревогой поглядывал Тилля на поле.

Буйно, дружно выбились всходы там, где был заложен суперфосфат. Старик Мумбай удивленно пожимал плечами:

— Век живу, такого не видел.

А осенью, когда раскрылись коробочки и пышно забелел под солнцем хлопок, сборщицы сняли с этого поля вдвое против прошлого года.

В ту осень Тилля привез домой туго набитые мешки зерна, риса. Из сельпо он принес два новых одеяла, кусок яркой ткани, всякую хозяйственную мелочь. Раскладывая это перед Меизгуль, приговаривал:

— Вот порошок, и это порошок, и это тебе тоже порошок! Кто теперь смеется?

Меизгуль, пораженная, смотрела на мужа; никогда еще не произносил он сразу так много слов. Но Тилля уже пришел в обычное состояние. Утерев новым полотенцем взмокший лоб, он тихо произнес:

— Видишь, Меизгуль, это — первый мой большой урожай. Но

погоди, я еще больше снимать стану. Жить будем всегда хорошо. Шелковый халат будет, ковры в нашем доме будут.

II

Тилля Туранов сдружился с агрономом Петром Николаевичем, который показывал ему в тот памятный день, как надо внести суперфосфат под пахоту. Агроному нравился этот тихий работающий человек, ищущий секреты плодородия. Бывая в колхозе, Петр Николаевич после дня хлопот в поле и правлении допоздна засиживался в доме Тилля. Беседа их сводилась к одному — что можно еще сделать, чтобы поднять урожайность. Агроном советовал то одно, то другое новшество. Тилля поверял ему свои собственные домыслы, поражая иногда Петра Николаевича их простотой и большим сходством с последними новинками агротехники.

Как-то Тилля спросил:

— Вот, растет куст высоко, а коробочек на нем немного. Другой куст — низкий, но разросся пышно, и коробочек на нем вдвое больше. Можно ли заставить и тот худой куст быть пошире?

Это было в ту пору, когда чеканка хлопчатника только пробовалась. Петр Николаевич, знавший о ней понаслышке, все же подтвердил, что можно заставить куст плодоносить обильнее. Тогда Тилля показал ему два растения с общипанными макушками.

— Это я пробовал. А завтра на всем участке сделаю.

Колхозники любопытствовали, что опять придумал Тилля.

— Смотри, — отвечал он, — этот куст высокий, а ветки у него тоненькие, слабые, коробочек будет мало. А я вот ему отщиплю макушку. Вверх он не полезет. Соки в боковые жилки пойдут. Потом и с боковых сниму макушку — сила пойдет в коробочки. Так агроном научил, — добавлял он.

Приходили потом на поле Тилля другие звеньевые, смотрели, как растут кусты с общипанными макушками, толковали, удивлялись новшеству, спрашивали, не поздно ли сейчас это делать, а потом шли к себе и проводили чеканку.

— Совсем агитатором стал наш Тилля, — говорил партторг колхоза.

— Какой я агитатор, — смущался Тилля, — спрашивают люди, почему не сказать.

III

Чем больше снимал хлопка со своего участка Тилля, тем беспокойнее он становился. Все, что он слышал от людей о том, как можно заставить землю рожать больше, перепробовал. И старую дувальную землю, и птичий помет, и прелую солому, все, что можно было считать удобрением, возил на свое поле. Пахал под зябь, перенаживал весной, планировал, подсыпал, равнял свое поле. Поливал и прямо и по диагонали.

И зимой находил он себе много работы, поднимал свое звено, когда другие спали.

— Жадный ты человек, Тилля, — упрекнул его однажды сосед Умар. — Много ли тебе надо? Ведь детей у тебя нет, а дом полон добра. Что ты надрываешься, ну, заработаешь еще тысячу, а зачем она тебе?

Тилля лукаво покосился на соседа и ответил:

— Приходи вечером ко мне, объясню. А теперь пошли работать.

— Смотри, Умар, — говорил, сидя с гостем за пловом, Тилля. — У меня есть все — одеяла, халаты, ковер, хорошие сапоги. У меня есть бараны, рис, яшеница, чай. Почему я так живу теперь?

— Потому, что ты колхозник; все мы теперь хорошо живем, тут нет ничего удивительного, — пожал плечами сосед.

— Правильно, — подтвердил Тилля. — А в колхоз нам путь показала советская власть, вот он — Сталин. — Тилля поднял глаза на портрет, укрепленный посреди большого бархатного ковра на стене. — И советская власть дала нам тракторы, плуги, электричество. Все это сделано руками людей. Вот я и думаю — человек, который делал трактор, не знал, конечно, что есть на свете такой Тилля, и все-таки в его сердце жила любовь ко мне — колхознику, для которого нужен трактор. Это — мой брат. Ему надо кушать, одеваться. У него нет поля. Так должен же я думать, чтобы у него был рис, мясо, одежда! Понимаешь теперь, почему я стараюсь вырастить больше хлопка? А мне с Меизгуль много не надо. Плохой бы я был советский человек, если бы хотел брать много, а давать мало.

Умар молча кивал головой. Ему казалось, что Тилля преобразился в эту минуту, — такое хорошее тепло излучали его узкие серые глаза, такое радостное возбуждение выражало все его морщинистое, с выгоревшими на солнце усами, лицо.

* * *

Работали в звено Тилля старательные, сильные люди. Но и им трудно было угнаться за звеньевым. Все удивлялись: откуда у этого невысокого худощавого человека столько сил — весь день работает тяжелым ферганским кетменем, а вечером еще все поле обойдет, проверит — добросовестно ли трудилось звено.

Однажды, дело было, когда зелень только выбилась из земли и предстояла первая обработка, он принес в поле десять палок, на которых были прибиты дощечки с именами колхозников его звена. Воткнув палки перед рядами, он сказал:

— Теперь видно будет, кто как работает.

На новую затею Тилля пришли посмотреть председатель и парторг. Назавтра все звеньевые проделали то же.

Тилля молча улыбался, когда звеньевые рассказывали ему об эффекте новшества. Не сам он сделал это. Был перед тем разговор и с председателем, и с парторгом, и с находившимся в колхозе секретарем райкома.

Все богаче становились урожаи. Перед самой войной звено Туранова вырастило по 35 центнеров хлопка на каждом гектаре.

— В будущем году надо снять больше, — сказал Тилля, когда звено, закончив уборку гуза-пай, собралось к нему пить чай. — Народная мудрость гласит: одна осенняя вспашка не может быть заменена десятью весенними. Не будем терять времени. Надо успеть запахать все поле до снега.

И они успели.

IV

Стояла пора цветения. Нежными лепестками раскрылись бутоны хлопчатника. Обмотав голову поверх тюбетеек полотенцами, кетменщики звена Туранова заканчивали окучку.

В обеденный час на поле прискакал запыхавшийся председатель колхоза. Спрыгнув с седла, он произнес одно слово:

— Война!

Из звена Тилля ушли на фронт самые крепкие мужчины. Третью окучку он уже провел с девушками и семидесятилетним стариком Назарали-бобо. Глядя, с какой натугой поднимает кетмень какая-нибудь из девушек, Тилля подходил к ней, брал из ее рук кетмень:

— Смотри, вот как держать надо, а вот как окучивать.

— Учи, Тилля, своих помощниц, — говорил парторг, — хлопка теперь еще больше надо давать. Тысячи воинов мы должны одеть.

— Понимаю, — отвечал звеньевой и, как умел, говорил об этом в своем звене. Состояло оно теперь из трех девушек и старика Назарали.

По утрам Тилля ходил будить свою команду. Старухи ругались, что он не дает дочкам поспать.

— Молодые же они.

— А на фронте разве старики? — спрашивал, теребя бородку, Тилля. — Послушай, тетка Мумараф, твой сын ведь тоже там. Ему рубашка нужна, штаны нужны. Где же взять это, если мы хлопка не дадим?

Тилля учил своих подростков всему тому, что надо делать, если хочешь снять высокий урожай. Учил он их трудиться, не жалея сил. И в первую военную осень он снял со своих восьми гектаров по 45 центнеров хлопка.

Меньше народа стало в колхозе.

— Значит, нам надо еще больше работать, — сказал своему звену Тилля. — То, что раньше делали десять человек, нам надо сделать впятером.

Трудно, очень трудно было управиться на восьми гектарах пяти работникам. Львиную долю труда звалил Тилля на свои плечи. Он уходил на поле до восхода солнца и возвращался в темноте.

Дома, сняв с натруженных ног запыленные сапоги и умывшись холодной водой, он растягивался на одеяле. Сразу начинало болеть все тело.

Часто он засыпал, не успев поужинать. Меизгуль будила его:

— Ешь, ты же любишь бешбармак, — и подвигала к нему блюдо с дымящимся, прано пахнувшим кушаньем.

Борясь с дремотой, он брал кусок и с безразличным видом жевал.

— Посмотри, что от тебя осталось, — вздыхала Меизгуль, — кости сухие, будто кушать тебе нечего. А живем мы так, что лучше и не надо.

— Лучше надо, — улыбался Тилля. — Вот война кончится, построим дом с электричеством, радио буду слушать не в чайхане, а в своем доме.

V

К концу войны Туранов был вполне доволен своим звеном. Он даже отказался от нескольких человек, предложенных ему в помощь.

— Справимся сами.

С этими же девушками — Гульзинат Абдурахмановой, Айтан Мадалиевой, Сарой Нарзуллаевой и стариком Назарали Якубовым провел Тилля Туранов весь комплекс полевых работ в 1946 году, в том году, когда с его поля был снят рекордный урожай, принесший звеньевому всенародную славу Героя Социалистического Труда.

Это не было случайной удачей, рекордным рывком. Это была планомерная, продуманная, разработанная до деталей и осуществленная победа. Тилля двигался к ней тяжелой дорогой опыта. И в первую послевоенную осень, когда была убрана гуза-пая, у него уже был готов план работы на будущий год. В нем сочетался богатейший народный опыт и передовая агротехника. И так как Тилля, по природной скромности своей и укоренившейся привычке считать цыплат по осени, не распространялся о том, что он собирается бороться за небывалый еще в колхозе урожай, то план этот раскрывался постепенно.

В ту весну Тилля заставил тракториста пахать на глубину в 30 сантиметров. Тракторист Ефим Мурманский жаловался:

— Придирается этот звеньевой, нет спасения. Прямо за плугом идет, тычет своей меркой в борозду и чуть мельче тридцати найдет, — скандал учиняет. Первый раз такого вижу.

Опытник Туранов и на этот раз выступал новатором. Он рисковал посеять на несколько дней раньше, чем обычно это делалось в колхозе. Но и тут он действовал обдуманно: на случай заморозков или дождя, после которого могла образоваться почвенная корка, звено заготовило на обочине поля перегной, чтобы можно было быстро прикрыть рядки.

Как только поле было вспахано и выравнено, Тилля потребовал, чтобы „Универсалы“ немедленно засеяли его участок. Председатель колхоза усомнился: не рано ли?

— Нет, — убежденно ответил звеньевой, — сеять надо сразу, пока земля свежая.

На некоторых участках еще заканчивали пахоту, когда Тилля сказал звену:

— Надо начинать перекрестную обработку.

Туранов крепко запомнил совет агронома, как и в какие сроки проводить перекрестную обработку. Он сам измерил поле и провел поперечные борозды. Вскоре его участок, нарезанный квадратами, напоминал издали огромную шахматную доску с мелкими зелеными клетками.

При сравнении участка Тилля с соседними казалось, что у него всходов меньше. И в самом деле, кустов на гектарах его поля было значительно меньше, чем у соседей. Говорили, что на этот раз Тилля прогадал. Кто-то из членов звена высказал такое мнение. Но Тилля так посмотрел на усомнившегося, что тот готов был провалиться сквозь землю.

— На нас теперь весь колхоз смотрит, — проговорил звеньевой. — Если мы сумеем сделать все так, как надо, то на будущий год не только мы, а все звенья будут перекрестно обрабатывать землю.

Стремясь точно выдержать сроки культивации, окучек, поливов, подкормок, Туранов стал еще требовательнее к дисциплине труда.

— Скоро по часам станете окучку делать, — смеялись соседи.

А Тилля вполне серьезно отвечал:

— Может быть, если это окажется нужным.

Звено выдерживало напряженные сроки работы. Было очень тяжело впятером провести пять кетменных окучек на всех восьми гектарах. Зато как радостно было видеть усыпанные коробочками кусты хлопчатника! Радостно было видеть восхищение и удивление соседей, когда во время сбора на хирмане стали расти пушистые белые горы хлопка с участка звена Туранова. Когда на всех других участках сбор был уже закончен, с поля Туранова все несли и несли туго набитые мешки хлопка.

В те дни Тилля ходил тихий и сияющий. Он чувствовал себя, как командир, после долгой и упорной борьбы выигравший сражение. Ему и хорошо на душе, и в то же время кажется, что можно было сделать еще лучше, затратив меньше сил. И в голове его рождаются новые планы.

После того, как поля были убраны, как все уже было взвешено и подсчитано и все узнали, что звено Туранова свершило небывалое — сняло по 99,15 центнера хлопка с каждого из восьми гектаров, после того, как члены звена получили больше всех зерна, риса, чая, мануфактуры, масла и прочего, что причиталось им за их самоотверженный труд, Тилля зашел к бухгалтеру колхоза и спросил, во сколько трудодней обошелся центнер сырья на его участке. Бухгалтер, не ожидавший такого вопроса, опешил:

— К чему это тебе, Тилля-ака?

— Надо, сделай расчет, — упорствовал Тилля.

Узнав, что центнер стоит по 4,5 трудодня, Тилля стал что-то подсчитывать. На завтра, встретив председателя колхоза, он сказал:

— Я просил еще трех человек в звено. Хватит одного, не то хлопок обойдется колхозу дорого.

...И снова настала весна. И снова, верный своему обычаю, от зари до зари работал Тилля со своим звеном, торопясь рано закончить посев. В мартовский день, когда все восемь гектаров его участка были засеяны тракторными саялками, из Янги-Юля и Ташкента приехали люди, чтобы поздравить его с великим званием героя. Весть об этом событии молниеносно разнеслась по колхозу.

Со всех сторон поля шли колхозники, принося свои сердечные поздравления. Так возник митинг, на котором Тилля произнес первую в своей жизни речь. Она была немногословна и ее можно привести целиком:

— Товарищи мои, — приложив руку к сердцу, негромко промолвил он, — люди колхоза Ворошилова, я благодарю вас за теплые слова, которые вы ко мне обращали. А я свое первое слово обращаю к первому Герою Социалистического Труда, мудрейшему Сталину! — Голос Тилля окреп. — Сталин осветил нам путь к счастью и трудовому героизму — колхозный путь. Семнадцать лет иду я по нему, и жизнь моя расцветает все краше и полнее. Хотя мне 49 лет, но мне кажется, что иду я вверх по лестнице жизни вместе с нашими комсомольцами. Я обещаю в этом году дать по 120 центнеров хлопка с каждого из восьми гектаров земли моего звена. Пусть долгие годы живет товарищ Сталин!

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Печатаемые ниже сказка и рассказ Рабиндраната Тагора ярко отражают некоторые стороны жизни современной Индии. В рассказе „Неотвязное горе“, написанном еще в 40-х годах прошлого века, Тагор дал в скупой и неприкрашенной форме картину деревенского быта настолько жизненную, что эта новелла вполне злободневна для Индии и сегодня. В ней — и произвол сборщика аренды и податей, и продажность английских властей, прикрываемая лицемерием и ханжеством, и тягостная и губительная власть сельской общины, и невозможность добиться справедливости для бедняка.

Сказка написана совсем в другом стиле, но под покровом аллегории, направленной, казалось бы, против самих индусов, скрывается сатира на английскую систему „народного“ образования в Индии, на программы школ всех рангов, заполненные множеством оторванных от потребностей Индии сегодняшнего дня дисциплин, на мнимых „друзей“ Индии, стоящих в стороне и ахающих по поводу ее несчастий, на чужих и своих туземцев, присосавшихся пиявками к изможденному ее телу. Язык этой сказки — сочный, меткий, красочный, наполненный ялом сатиры, не уступает по силе лучшим образцам мировой сатирической литературы.

ОБУЧЕНИЕ ПТИЦЫ

Сказка

Давным-давно жила птица. Она была неграмотна. Но пела птица превосходно, хотя азбуке и нотам никогда не обучалась. Она прыгала и летала, не имея достаточно приличных манер.

И однажды Раджа сказал сам себе: „В конечном счете невежество птиц обходится мне слишком дорого. Они истребляют столько пищи, сколько им хочется, и, к тому же, ничего не дают взамен...“ Он созвал своих племянников и заявил, что птица должна получить приличное воспитание.

Были призваны мудрецы, сразу же обратившиеся к сути дела. Они решили, что невежество птиц происходит от их естественного образа жизни в убогих, бедных гнездах. „Поэтому, — изрекли мудрецы, — для обучения птицы прежде всего необходима достойная этой цели клетка.“

Мудрецы получили свой бакшиш¹ и счастливо разошлись по домам.

Была изготовлена роскошно изукрашенная клетка. Толпы людей стекались из всех стран, чтобы подивиться на нее.

„О, Культура, плененная и заточенная в клетку!“ — восклицали одни и лили слезы. Другие весьма разумно и резонно возражали им: „Даже если погибнет Культура, то клетка будет существовать вечно. Это же очевидный факт! Как счастлива птица!“

Ювелир, изготовивший клетку, наполнил тем временем свой мешок золотом и отправился домой.

Пандит² принялся обучать птицу. „Никогда не будет достаточно учеников для нашей цели“, — с достоинством изрек он, взяв понюшку табака.

Тогда племянники собрали громадную толпу писцов. Писцы переписывали с книг, переписывали со списков до той поры, пока рукописи не нагромодились до недостигаемой высоты. И люди в изумлении шептали: „О, дивно-высокая башня премудрости! Вершина ее тонет в облаках“.

Писцы с легкими сердцами и тяжелыми карманами поспешили по домам.

Племянники были дьявольски заняты поддержанием клетки в должном порядке и, глядя на их непрерывную возню с чистой и полировкой, люди говорили с удовольствием: „Вот истинный прогресс“.

Много было нанято рабочих, а надсмотрщиков и того больше. Они с их родичами всех степеней родства строили для себя дворцы и жили в них припеваючи.

Могут быть какие угодно недостатки, но никогда мир не испытывал недостатка в изыскателях недостатков; появились они и здесь для того, чтобы заметить, что всякое существо, так или иначе связанное с клеткой, бесспорно, процветает, но только не сама птица.

Когда это замечание достигло ушей Раджи, он созвал перед свои очи племянников и соизволил промямлить: „Мои дорогие племянники, что это дошло до наших ушей?“

Племянники сказали в ответ: „Повелитель, коли правда должна стать явью, то надлежит осведомиться у ювелиров и пандитов, писцов и надсмотрщиков. Изыскателям недостатков пища в диковинку, и поэтому у них языки стали чересчур тонки.“

Объяснение было настолько красочным и убедительным, что

¹ Бакшиш — вознаграждение.

² Пандит — педагог.

Раджа наградил каждого из племянников редчайшими драгоценными камнями из своей сокровищницы.

Наконец Раджа, возжелав увидеть собственными глазами, как его департамент просвещения обучает птицу, удостоил однажды своим посещением Большой зубриный зал.

От самых ворот слышались звуки раковин и гонгов, рогов, труб и тромбонов, цимбал, барабанов и барабанчиков, тамтамов, тамбуринов, флейт, свирелей, литавр и волынок. Пандиты начали петь мантры своими тонкими голосами, а ювелиры, писцы и надсмотрщики и их бесчисленные родичи всех степеней родства громко провозгласили здравицу.

Племянники улыбнулись и спросили: „Что думаете вы об этом, владыка?“ А Раджа соизволил ответить: „Эго, кажется, дьявольски соответствует высокому принципу образования!“

Очень довольный, Раджа собирался было уже взгромоздиться на слона, когда изыскатель недостатков выкрикнул, сидя где-то за кустами: „Махараджа, видел ли ты птицу?“

— Конечно, нет, — молвил Раджа. — Я совершенно забыл о птице.

Вернувшись, Раджа спросил пандитов о метод, которому они следовали при обучении птицы. Метод, который был столь громаден, что птица в сравнении с ним выглядела до смешного крохотной, был продемонстрирован и поверг Раджу в безмерное увлечение. Раджа был удовлетворен тем, что недостатка в украшениях клетки не было. Что касается жалоб самой птицы, то они попросту не были приняты во внимание.

Ее горло было до того забито страницами книг, что ни свистнуть, ни вздохнуть ей не было мочи. Она содрогнулась в ожидании своей смерти. В это время Раджа, взбираясь на слона, приказал своему государственному Двинь-в-ухо деинуть как следует по обоим ушам изыскателя недостатков.

А птица тем временем законно и достойно поползла до безопаснейшей грани бесконечности. И в самом деле, прогресс был до крайности удовлетворителен. Тем не менее, природа случайно восторжествовала, и когда, не менее случайно, лучи зари проникли в клетку, птица самым недостойным образом взмахнула несколько раз крыльями. Она предприняла, хотя и трудно это себе представить, жалкие попытки расклевать своим слабым клювом запоры клетки.

— Какая наглость! — прорычал котвали¹.

Кузнец с молотом и горном занял свое место в департаменте просвещения. О, какие грохочущие удары! Железная цепь вскоре была выкована и сковала птице крылья. Племянники Раджи были повергнуты этим в печаль и говорили, качая головами: „Эти птицы не признают не только здравого смысла, но и благодарности!“

С учебником в одной руке и с указкой в другой пандиты преподли несчастной птице то, что по достоинству заслуживало на-

¹ Котвали — полицмейстер.

звания урока. Котвали был награжден титулом за бдительность, а кузнец — за его искусство в ковке цепей.

Птица умерла. Никто не знал, как давно это случилось. Исследователь недостатков был первым, распространившим это известие. Снова Раджа призвал своих племянников и пробормотал:

— Мои дорогие племянники, что это достигло нашего слуха?

Племянники отвечали:

— Господин, обучение птицы закончено.

— Она прыгает? — спросил Раджа.

— Вовсе нет, — отвечали племянники.

— Летает?

— Нет.

— Принесите же птицу, — повелел Раджа.

Птицу принесли к нему под охраной котвали, сипаев¹ и соваров². Раджа ткнул ее сухое тельце пальцем. Изнутри слышался только шелест книжных страниц.

За окном весенний ветер перешептывался с лепестками только что расцветшего жасмина и их шопот печалил чистое апрельское утро.

НЕОТВЯЗНОЕ ГОРЕ

Рассказ

В дом господина наиба³ Гириш Босу была нанята молодая, вполне порядочная служанка, которую звали Пьяри. Приехала она откуда-то издалека. Всего несколько дней успела она пробыть на женской половине, а старый наиб уже таращил на нее свои похотливые глаза, и ей пришлось пожаловаться на это хозяйке. Та посоветовала ей: „Иди, куда хочешь, девушка. Ты из хорошей семьи и тебе не следует здесь оставаться“. Благословила ее и дала на дорогу денег.

Но не легкое дело побег, даже если в руках есть и деньги на дорогу и еда. Девушка нашла убежище в этой же деревне у почтенного Хорихора Бхоттачарджо. Его сыновья встревожились и сказали ему: „Зачем ты вводишь в дом горе, отец?“ А он ответил им на это: „Если само несчастье придет ко мне и попросит крова, я не смогу отказать ему“.

* * *

Гириш Босу многократно поклонился: „Почтенный Бхоттачарджо, зачем ты увел мою дочь? В хозяйстве из-за этого все пошло через пень в колоду!“

¹ Сипай — пехотинец.

² Совар — кавалерист.

³ Наиб — доверенное лицо помещика (земнидара); человек, собирающий налоги и аренду с арендаторов.

Вполне возможно, что, отвечая на это, Хорихор сказал парую другую верных слов. Он был гордый человек, и нельзя было заранее ни знать, ни сказать, что у него накипело на сердце и готово вырваться. В сердце наиба заворожился муравей, и наибо ушел.

Через несколько дней он что-то слишком почтительно поклонился Хорихору, а еще дня через два-три в дом Хорихора нагрянула полиция. Госпожа супруга раджи с детства была дружна с женой наиба. Девушка угодила в тюрьму по подозрению в воровстве. Хорихор остался незамаренным грязью преступления, поскольку он всегда пользовался всеобщим уважением.

Хорихор подумал, что если он и теперь даст приют несчастной, то Пьяри совершенно погибнет. Стойкость его сердца была сломлена. Сыновья говорили ему: „Продадим землю, пожитки и уедем в Калькутту. Здесь так трудно“. Хорихор отвечал на это, что нельзя оставлять отцовскую землю и что нигде не останешься незаметным для несчастья.

Тем временем наибо настолько вздул налоги, что стал всем ненавистен.

Участок Хорихора нигде не соприкасался с участком земиндара. Наибо наговорил своему господину, что Хорихор потворствует своим арендаторам и вообще стал нестершим. Земиндар заметил на это, что коли тот поступает таким образом, то не мешает его проучить.

Наибо очень низко поклонился Бхоттачарджо и сообщил, что его участок врезался в общественные земли и что его придется возвратить. Хорихор воскликнул: „Да что это за глупости? Ведь это же давнишний наш надел!“. Примыкавший ко двору земиндара родовой надел Хорихора, приглянувшийся земиндару, был „законно возвращен“.

„Уж пусть пропадет эта земля, — простонал Хорихор. — Я слишком стар таскаться по судам“. Но сыновья возразили ему на это, что уж если отдавать примыкающий к дому надел, то стоит ли оставаться в самом доме? Старик дрожащими ногами пошел в суд искать правды ради дорогого ему отцовского надела. Муншеф¹ Нобгопал Бабу доказал его правоту и вынес соответствующий приговор. Все люди Бхоттачарджо, узнав об этом, затеяли большой праздник, но Хорихор поспешил остановить их. Пришел наибо и излишне почтительно поздоровался с Бхоттачарджо, склонил голову и принес свои извинения. Судейские не вымогали у Хорихора денег, после судебного решения ни у кого не было сомнений в его правоте.

Разве тень не сопутствует свету? Хорихор решил остаться.

* * *

Однажды около конторы земиндара ударили в барабан и было объявлено, что будет заколот козел и в доме наиба будет прине-

¹ Муншеф — судья по гражданским делам.

сена жертва богине Кали. Это что еще за затея? Хорихор заподозрил неладное, когда услышал об этом. Он схватился за голову и спросил адвоката:

— Босонт Бабу, что же это делается? Что еще со мной будет?

Минул день, и когда наступил вечер, Босонт Бабу сказал ему по секрету: „Приехал какой-то дополнительный судья и этот-то муншеф вместе с муншефом Нобгопал Бабу копаются в вашем деле. Уже ничего нельзя сделать. Сегодня Нобгопал Бабу пригрозили, что если он хочет остаться на своем месте, он должен очертить вас“. Расстроенный Хорихор спросил: „Не обращался ли кто-нибудь из них в верховный суд?“ Босонт отвечал, что приезд этого судьи, несомненно, явился следствием апелляции. „Он сомневался в вашей правоте, но зато верит в правоту противной стороны“. С плачем взмолился старик: „Где же мне найти выход?“ Адвокат сказал ему, что никакого выхода он не видит.

Гириш Босу с домочадцами и по сей день смиренно кланяется брахману и говорит во время жертвоприношений, тяжело и глубоко вдыхая: „Твоя воля, о господи!“

Перевел с бенгали *Протап Синг*.

СТАТЬИ

Д. ВИФЛЕМСКИЙ

МАЯКОВСКИЙ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПОЭЗИЮ

(К 17-й годовщине со дня смерти поэта)

I

Творчество Маяковского — это поэтическая летопись великих и грозных революционных боев, напряженного труда советских людей, прославление социалистической родины, весны человечества. Его стихи и поэмы рассказывают о том, как идеи Ленина — Сталина, овладевая сознанием масс, творили чудеса. В его книгах художественно запечатлен процесс духовного роста и обогащения людей, освобожденных из капиталистического рабства, добывающих „свинцовые мерзости“ жизни.

15 апреля 1930 г. „Правда“ писала: „Маяковский — поэт-футурист, „лефовец“ — пришел в революцию своими особыми путями, но он шел в революции нашим общим путем.“

Указывая на специфичность своего пути, Маяковский писал:

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов и вил,
я же
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Вся советская действительность раскрывалась для поэта как объект творчества, потому что новый общественный строй был более высоким и совершенным, чем любой буржуазно-демократи-

ческий. Маяковский хотел быть и стал выразителем новых моральных и эстетических принципов. Касаясь вопроса о социальном заказе, он говорил: "...то, что мне велят, это правильно. Но я хочу, чтоб мне так велели". В этой формуле Маяковский снимал для себя противоречие между гражданином и поэтом, которое было снято советским строем и которое так болезненно переживали великие художники прошлого. Осознанная гордость советского человека-гражданина определяет и отношение Маяковского к Западной Европе и Америке.

В очерке „Парижские провинции“ (1923 г.) поэт писал: „Мы даже не заметили, как наши провинциальные города стали столицами республик, федераций, как городки стали центрами огромной революционной культуры и как Москва из второсортных городов Европы стала центром мира. Только в поездке по Европе, в сравнении видишь гулливеровские шаги. Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем. Все черты нашей провинции налицо... Конечно, все сказанное мною относится главным образом к душевной опустошенности, к остановке роста материальной культуры...“

Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепченку
не сдерну с виска.
У советских,—
собственная гордость:
На буржуев
смотрим свысока.

Такими строчками закончил поэт стихотворение „Бродвей“ (1925 г.).

Кричащие социальные противоречия в городах капиталистической Европы и Америки, торгашеский дух важивы, толпы безработных, преследование и избиение революционных рабочих — все это встает в живых картинах и мет их, точных определениях в циклах „заграничных“ очергов и стихов советского поэта. „Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке, — пишет он, — все „бизнес“ — дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже. Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все...“

Вот Маяковский осматривает фордовский завод. „Мой сотоварищ по осмотру, — замечает поэт, — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: „Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде“. И общий вывод поэтического полета нашей страны из заокеанских наблюдений таков: „Может статься, что Соединенные Штаты сообщат станут последними вооруженными защитниками безнадёжного бур-

жуазного дела, — тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман „Борьба двух светов...“

В стихотворениях, очерках и статьях Маяковского мы находим богатейший материал, рисующий сущность буржуазной культуры, моральная основа которой гнилая. И на вопрос товарища Жданова в его докладе о журналах „Звезда“ и „Ленинград“: „К лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль учеников?“ — Маяковский, как „живой с живыми говоря“, отвечает своим творчеством: „Нет!“ И в убедительнейших картинах и примерах показывает превосходство советской культуры над культурой капиталистического мира.

II

В мужественной борьбе с пережитками старого в своем сознании, в творческом труде в полный разворот всех своих сил, в оттачивании своего оружия — поэтического слова — против мелких и крупных врагов „страны-подростка“ рос и сам Маяковский.

В работе над поэмой „Владимир Ильич Ленин“ все яснее и яснее вырисовывались для поэта черты того метода, который позднее получит название метода социалистического реализма.

Поэзия Маяковского становится составной частью общегосударственного дела:

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выплавкой стали
О работе стихов
от Политбюро
чтобы делал
доклады Сталин.

Меря „по коммуне стихов сорта“ („Послание пролетарским поэтам“), вздувая „заранее из искры неясной ясное знание“ („Размышления о Молчанове Иване и о поэзии“), призывая поэтов рваться в завтра,

вперед... („Верлен и Сезан“).

Маяковский утверждает свой творческий метод. Он требовал применения наиболее действенных жанров и художественных приемов. Он готовил поэтов страны Советов к „мобилизациям и маневрам“; он призывал их во вооружении поэтического мастерства защищать отечество трудящихся. Когда, через десятилетие после смерти Маяковского, на нас двинулись полчища фашистских грабителей и убийц, когда наш вооруженный народ начал разговаривать

с фашистами
языком пожаров,
словами пуль,
остротоми штыков,

творчество советских поэтов стало источником бодрости и силы для бойцов Советской Армии и тружеников тыла великой страны. И в этом огромная заслуга „будущих былин Святогора-богатыря“ — поэта В. В. Маяковского.

III

Маяковский развертывает энергичную борьбу с теми литературными направлениями, группировками и отдельными писателями, которые были враждебны Октябрю или не понимали задач, стоящих перед советским искусством. Он справедливо обрушивается на пролеткультовцев и некоторых „кузнецов“, на их ложно понятый коллективизм, на условную аллегоричность их образов, искажающих революционную действительность; он высмеивает их зависимость от поэтики символистов и акмеистов, выразителей наиболее реакционных идей и мракобесия в литературе. Маяковский внимательно следит за развитием русского конструктивизма и неоднократно вскрывает его буржуазную сущность. „Коренная ошибка, — говорил поэт, — состоит в том, что они вместо индустриализма преподносят индустриализацию, что они берут технику вне классовой установки...“ Он выступает против „непредвзятого“, „незаинтересованного“ отношения художника к строителям новой жизни и к врагам советской власти, против кулацкого гуманизма „перевальцев“.

Почти в каждом своем выступлении (особенно в последние годы) Маяковский на примерах поэтической практики многих рапповских поэтов демонстрировал их идейную и художественную беспомощность.

Обывательские, мещанские настроения в творчестве советских поэтов вызвали со стороны Маяковского резкие протесты. Аполитичной, безыдейной, реакционной поэзии он дает бой не только в своих выступлениях и статьях, но и в своем творчестве. Вот один пример. Когда Иван Молчанов напечатал стихи „Свидание“ и „У обрыва“ (1927 г.), Маяковский в „Письме к любимой Молчанова, брошенной им“, цитирует отдельные строчки из Молчанова и от имени брошенной заявляет:

Прекратите ваши трели!
Я не знаю, я стара ли,
Но вы, Молчанов,
 постарели,
Вы и ваши пасторали...

Одну из молчановских строк поэт вкладывает в уста Присыпкина (комедия „Клоп“) — „с треском отрывающегося“ от своего рабочего класса, омещанившегося человека:

Я, Зоя Ванна, я люблю другую,
Она изящней и стройней,
И стягивает грудь тугую
Жакет изысканный на ней...

А слесарь (один из персонажей пьесы) дает характеристику Присыпкину строчками из стихотворения Маяковского, являющимися перефразировкой молчановских стихов:

Шел я верхом,
шел я низом,
строил мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся у моста.
Травка выросла у моста.
По мосту идут овечки.
Мы желаем очень просто
Отдохнуть у этой речки...
Так, что ли?

В киносценарии Маяковского „Забудь про камин“ показан „красивый парень сельско-есенинского вида. Из тех, которые, будучи Ванькой, заказывают карт ч и визитные — „Электротехник Жан“. На приглашение рабочих прийти на собрание „герой гордо отмахивается“ и в оправдание произносит стихи Молчанова:

За боль годов, за все невзгоды
Глухим сомнениям не быть
Под этим мирным небосводом
Хочу смеяться и любить.

В горячке строительных дней, в практическом осуществлении социалистических планов для Маяковского представляла не только комической, но глубоко отвратительной фигура „бездельника-лирика“, „птички божьей“, „декадентского дятла“. Каких уж „маршей“, какого „вибра идей“, „новостей“ можно ждать от „птицы“ в „человечий рост!“ (сатира „Птичка божья“).

В своих выступлениях Маяковский называл имена многих писателей и поэтов-современников. Он с искренним удовольствием отмечал талантливые произведения, и ряд писателей вспоминает о нежном, товарищеском отношении „горлана-глазара“ к ним. Цель разговоров Маяковского как на диспутах, так и в произведениях с поэтами-современниками направлена была на то, чтобы повысить качество нашей поэзии. „У нас были такие поэты — Уткин, Жаров, Молчанов, — говорил он на пленуме Правления РАПП в 1929 г., — с которыми мы ругались в прошлом году: мы приводили их как пример мещанства“... В этом году переходят на другую работу, скажем, такие поэты, как Жаров и Уткин... Надо посмотреть на них и знать, что если вчера они были мещане, то завтра окажутся нужными, а сегодня такой момент, что они в 10 раз нужнее, чем эти конструктивисты...”

В творчестве Маяковского мы находим целую галерею сати-

рических образов поэтов-халтурщиков, у которых „тем под кудрею нету“.

Борясь за высокое качество советской литературы, Маяковский утверждал, что

в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки.

„Я с острой внимательностью подхожу к произведению того или иного пролетарского писателя, — говорил поэт, — нужно находить те черты, которые отличают его произведение, как пролетарское, от остальных и, наоборот, снимать ту шелуху, которая явилась только кудреватым наследием прошлой поэзии и литературы.“

Идеализация прошлой жизни, восхищение ее „красивостью“, „помпадуршиными спаленками“ напоминает Маяковскому акварель „к каким-то стишкам Ахматовой“ („Версаль“). В очерке „Поверх Варшавы“ поэт приводит такой случай: „Какая-то станция... Подхожу к киоску за русскими эмигрантскими сочинениями. У киоска остолбеваю. Лежит „Нива“. „Нива“ самая настоящая: буквы в преточках, слева — семейства, читающие „Ниву“, справа — амурички, „Ниву“ поливающие из лейки... И даже дань времени: „Нива“ называется „новой“... Возмущенный, раскрываю журнал. Еще бы не возмущаться, какая наглая подделка! Читаю. Никакая не подделка. На первой странице Ахматова. Потом Звезда — „Путешествие по Корсике“, масса зощенок, и все в этом роде со слабой примесью собственных советодов-рижанин.“ Поиронизировав насчет „внеклассового“ искусства и тех, кто выгестовал писателей, одинаково приемлемых и для советского обывателя и для оберегаемого от коммунизма рижского, Маяковский заявляет: „погоня за темами, общими для всех человек, это — погоня за огромным косным обывательским рынком“.

Маяковский вел непримиримую борьбу с критиками, зараженными „барскими“ предрассудками, с критиками, гордящимися своим „надклассовым сознанием“. Поэту, раскрывающему свое ремесло „как радость мастером кованую“, ненавистны критики и „ученые“, занятые выделкой „дьяконов из лучших комсомольцев“.

Десятки городов СССР слушали выступление поэта, который утверждал новое советское искусство. Поэтический полпред страны Советов, он в своих зарубежных поездках пропагандировал великие идеи Октябрьской социалистической революции. Богатырским размахом, большевистской идейностью и страстностью характеризуются деятельность Маяковского в послереволюционное время.

Являясь продолжателем лучших традиций русской поэзии XIX века и великим художником-новатором, создателем социалистической поэзии, Маяковский и сейчас учит советских писателей „томами своих партийных книжек“ помогать государству и партии воспитывать и идейно вооружать народ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА

(На спектаклях Самаркандского театра русской драмы)

Самарканд — один из крупнейших культурных центров Узбекистана. Здесь расположены многие научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения, предприятия республиканского и даже союзного значения. Естественно, среди городских культурных учреждений видную роль должны играть театры, в частности театр русской драмы, обслуживающий значительную часть населения города.

Коллектив Самаркандского театра русской драмы располагает достаточными исполнительскими силами. Заслуженной популярностью пользуются у зрителей артисты Н. Мартынова, В. Веровская, Е. Карельская, Ю. Алябьев; хорошо зарекомендовало себя в ряде постановок пришедшее в нынешнем сезоне пополнение — А. Корчанов, Н. Балаев, Е. Соколова, В. Фатеев, А. Попова и ряд других. Театру в его теперешнем составе вполне под силу ответственные постановки из современной и классической драматургии.

И однако же в последние два года Самаркандский театр русской драмы недостаточно хорошо удовлетворяет запросы зрителей. Причина такого положения вещей, по нашему мнению, заключается в неправильной репертуарной линии театра, вернее в отсутствии какой бы то ни было линии. В подборе пьес преобладает случайность, в репертуар попадают произведения, не исчерпывающие творческих возможностей коллектива и не удовлетворяющие интересы зрителя.

Постановление ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров застало Самаркандский театр русской драмы врасплох.

В прошлом сезоне классика в репертуаре театра была представлена произведениями А. Островского („Не все коту масленица“, „Последняя жертва“, „Бесприданница“, „Женитьба Белугина“), „Маскарадом“ М. Лермонтова, инсценировкой „Дворянского гнезда“ И. Тургенева. За исключением, пожалуй, „Маскарада“, успехом

постановки которого театр был обязан режиссеру, ныне покойному Я. Варшавскому и исполнителям центральных ролей И. Шквалову (Арбенин) и Н. Мартыновой (Нина), да „Женитьбы Белугина“, остальные спектакли ставились наспех и по большей части являлись не всегда удачными копиями спектаклей других театров.

Современная драматургия была представлена „Лодочницей“ Н. Погодина и „Площадью цветов“ Ильенкова — произведениями низкого идейно-художественного уровня. От этих спектаклей зритель отказался сразу же после премьеры.

Нынешней осенью, когда уже следовало начинать новый сезон, стало очевидным, что играть театру, собственно, нечего. Репертуарные наметки, составленные по примеру прошлого года, оказались неудачными, ни одну из намеченных пьес ставить было нельзя. Это и явилось причиной того, что Самаркандский театр русской драмы был, пожалуй, единственным в республике, не начавшим сезона к 29-й годовщине Великого Октября. В эти дни в театре были в разгаре репетиции пьесы Анатолия Сурова „Далеко от Сталинграда“ — первой постановки нынешнего сезона.

Характерно, что второпях театр принял к постановке первый вариант этой пьесы, хотя к тому времени уже была другая, более удачная редакция.

Напомним вкратце содержание „Далеко от Сталинграда“:

Завод, эвакуированный с Украины в глубокий тыл, на новом месте быстро осваивает производство авиамоторов. Руководимый человеком большого опыта директором Осередько, завод перевыполняет производственные задания, завоевывает переходящее Красное знамя. Казалось бы, все идет хорошо. Но один из новых работников — инженер Березин убежден, что успехи завода относительно. Даже перевыполняя план, завод не использует всех своих возможностей. Для увеличения выпуска моторов Березин предлагает проект перехода на поточный метод производства.

Осередько даже не выслушивает Березина. Он удовлетворен работой завода. Его примеру следует и Красавин — член бюро горкома партии, и ряд других руководящих работников. И только недавно прибывший парторг завода Орлов, внимательно изучая предложение Березина, убеждается в его ценности и борется за его осуществление, преодолевая сопротивление Осередько и Красавина.

Конечно, пьеса Сурова — произведение не о производстве авиационных моторов. Борьба за увеличение производства — лишь средство раскрытия другой важной темы: борьбы новаторства с косностью, смелого творческого дерзания с благодушием и с трусливой самоуспокоенностью. И пьеса Сурова построена на столкновении людей дерзающих, неутомимых в достижении цели, с людьми равнодушными, благодушными и трусливыми.

Подымая эту важную тему, Суров делает существенную ошибку в расстановке сил. Носитель положительной идеи пьесы парторг Орлов, по существу, одинок среди руководства завода и города. Одна из героинь прямо говорит ему — „Таких, как вы, нет!“

Он не находит поддержки у директора завода Осередько; почти все руководство тылового города, которое должно было быть и в действительности было организующей и направляющей силой трудящихся в дни Великой Отечественной войны, в пьесе оказывается порочным, и только один Орлов представлен положительным руководителем, вступающим в единоборство и с Осередько, и с Красавиным, и с другими. Такое изображение искажает действительность, не отражает правильного соотношения сил, ибо не одиночки, подобные Орлову, а массы народа, возглавляемые партией, обеспечили своими трудовыми подвигами победу над врагом. Есть в пьесе и другие существенные недостатки: ряд персонажей очерчен крайне поверхностно, пьеса слаба композиционно, бледен и невыразителен язык отдельных героев.

Эти недостатки первого варианта пьесы Сурова были вполне очевидны постановщику спектакля — заслуженному артисту Ю. А. Алябьеву. Стремясь преодолеть их в своей работе, постановщик и коллектив театра, местами, где одиночество Орлова выступало уже слишком очевидно, сделав купюры, дополнив текст, сумели донести до зрителя основную идею пьесы — неотъемлемое чувство нового, присущее советским людям, характерное для них творческое дерзание и непримиримое отношение к трусости и самоуспокоенности.

Центральную роль парторга Орлова играет артист А. Корчанов, играет вдумчиво и с увлечением. Он создает образ человека большой силы воли, душевной чистоты и мягкости, ясного и спокойного ума, страстного стремления вперед.

Артист Н. Балаев ведет роль члена бюро горкома Красавина с хорошим пониманием существа этого сложного образа, во многом дополняя автора пьесы. Перед зрителем предстает самоуверенный, но трусливый человек, вполне довольный своим положением и боящийся, как бы не лишиться насиженного места.

Трудная роль первого секретаря горкома партии Купавина выпала на долю артиста В. Путилина. Актер приложил немало усилий, чтобы оживить этот явно неудавшийся драматургу образ, чтобы показать Купавина волевым человеком, способным и ошибаться и открыто, не стыдясь, признавать и исправлять свои ошибки.

Хорошо играет роль Зои — секретаря директора — заслуженная артистка Мартынова, создавшая образ девушки, озлобившейся и безразличной к жизни, но потом вновь обретшей веру в жизнь, в себя, в людей благодаря чуткому отношению Орлова.

В плане замысла автора пьесы ведет роль председателя горисполкома Анохина заслуженный артист Ю. Алябьев. С душевной теплотой играет роль старого рабочего, пламенного патриота Михеева, артист В. Фатеев и его добродушной жены Кузьминишны заслуженная артистка Е. Карельская. Сатирический образ редактора Толкунова — подхалима и болтуна — создает артист А. Архипов. Из остальных исполнителей следует отметить артистку А. Попову, темпераментно сыгравшую роль подростка Фетиса, и артиста А. Попова в роли инженера Березина.

Но ни актеры, ни режиссер, конечно, не могли преодолеть основного порока первого варианта пьесы Сурова, не могли дополнить пьесу положительными персонажами или наделить другими чертами людей, показанных в пьесе, с тем, чтобы лишить Орлова его одиночества.

Следующей премьерой прошла „Мечта“ Корнейчука. И опять по первому варианту, и снова в то время, когда уже была очевидна идейно-художественная слабость ее, признанная, кстати, задолго до премьеры и самим автором. Ведь именно тогда, когда театр начинал репетировать „Мечту“, автор ее А. Корнейчук, выступая на происходившем тогда в Москве Всесоюзном совещании театральных деятелей и драматургов, говорил:

„Я написал не одну пьесу, но я всегда работал с театром, с режиссером и всегда был и буду благодарен им за их помощь. Так было и с последней моей работой — пьесой „Мечта“. Мне казалось, что пьеса закончена, но когда я принес ее в театр имени Франко и в Художественный театр и мы вместе продумали ее, выяснилось, что многое еще надо исправить. Я снова стал работать над пьесой, внес серьезные изменения и только теперь ее закончил.“

Нужно ли говорить, что судьба этой постановки оказалась очень печальной. Несмотря на усилия исполнителей — Корчанова, Мартыновой, Веровской и других — спектакль почти сразу же после премьеры пришлось снять с репертуара. Зритель отклонил его.

„Мечту“ сменили „Старые друзья“ Л. Малюгина — пьеса, написанная на большую и важную тему; она показывает нашу молодежь, ее духовный мир, ее моральные качества, ее мысли и стремления.

Пьеса „Старые друзья“ не лишена недостатков: это, прежде всего, статичность и однообразие драматургических приемов. Достаточно сказать, что все три акта проходят в одной и той же комнате, за одним и тем же столом, и все три акта участники пьесы поднимают тосты, спорят, выражают свои заветнейшие мечты, рассказывают о своих делах. Такая пьеса нуждается в особенно хорошей постановке и исполнителях, но в театре над ней поработали и мало и несерьезно, из-за чего и спектакль получился очень скучным. Как известно, спектакль „Старые друзья“ в Московском театре им. Ермоловой был удостоен Сталинской премии. В Самаркандском же театре к пьесе отнеслись равнодушно и... провалили.

Гораздо больше средств и усилий было затрачено коллективом театра на постановку пьесы Лермонтова „Испанцы“. Этот спектакль характерен вдумчивой работой режиссера А. Корчанова и рядом актерских удач. Хорошо провел роль патера Соррини артист А. Случевский, проникновенно сыграл роль Моисея артист Фатеев. Острый рисунок образа мачехи дала артистка В. Веровская и весь спектакль был отлично оформлен художником Максудовым.

Постановщику „Испанцев“ и коллективу исполнителей удалось оттенить гуманистическую линию пьесы, вызвать симпатии зрители к гонимым и гнев к угнетателям, выразить в спектакле тот „души

непобедимый жар" юного поэта, о котором он говорит в своем стихотворном посвящении к пьесе. Поэтому-то "Испанцы" встретили такой хороший прием у зрителя и прочно вошли в репертуар театра.

После этого спектакля репертуарная линия делает новый, ничем не оправданный, чудовищный изгиб. Совершенно неожиданно, буквально в течение каких-нибудь полутора недель репертуарная афиша театра пополнилась двумя комедиями — "Чужим ребенком" Шваркина и "Забавным случаем" Гольдони. Поставленные наспех, спектакли эти, представляющие компиляции из различных постановок, в которых в прежние годы участвовали исполнители, находившиеся тогда в разных театрах, не представляют никакого художественного интереса и могут послужить скорее объектом фельетона, нежели серьезного разбора. Здесь все поражает — и отсутствие ансамбля и столь необходимой в комедиях режиссерской изобретательности, а в "Забавном случае" — незнание стиля эпохи комедии Гольдони, и отвратительная игра актеров, которые, правда, в этих, не совсем голландских костюмах, чувствуют себя чужаками и выглядят смешно.

И только недавно показанный спектакль — "Русский вопрос" Симонова явился новой серьезной работой, опять-таки показавшей, насколько велики творческие возможности театра и насколько благодарна вдумчивая работа над современной драматургией.

Спектакль "Русский вопрос" характерен рядом значительных актерских удач.

Основное внимание зрителей привлекает образ журналиста Гарри Смита. Эту роль ярко, верно и умно играет А. Корчанов. Как и у Симонова, Смит Корчанова вовсе не коммунист, он не думает о вступлении в единоборство с окружающей его средой деятелей буржуазной печати. Мечты Джесси о загородной вилле, о красивой обстановке, о машине, о тихом семейном уюте — это и его мечты. Гарри просто честен, он не идет на сделки со своей совестью, стремится к правде, и не его вина, что это стремление к правде приводит его к острому конфликту с окружающей средой. Этот конфликт с самого начала до кульминационного пункта превосходно показан Корчановым. Он достиг и прекрасной внешней обрисовки образа, и глубокого психологического раскрытия его существа.

Рельефно нарисованы в пьесе образы хозяев газеты — Макферсона и Гульда. Эти роли исполняют артисты А. Случевский и Н. Балаев. Случевский в целом правильно понял существо образа и старается изобразить Макферсона как прожженного дельца, как человека, уверенного во всевластии доллара. Ряд сцен проведен артистом весьма выразительно, но хотелось бы большей остроты диалога, большего разнообразия интонаций и жестов, более глубокого раскрытия образа этого хищника. Гульд — достойный сподвижник Макферсона. Он такой же прожженный делец, и Балаев рисует правильный и убедительный образ этого ренегата, имею-

щего свою программу уничтожения коммунизма. Игра Балаева характерна глубоким пониманием идейно-политической сущности образа Гуды и умением эту сущность убедительно раскрыть перед зрителем.

Исполнение роли Джесси — крупный успех артистки Н. Мартыновой. Ее Джесси с первого появления до заключительной сцены приковывает внимание зрителя. Артистка показывает опустошенность Джесси, вспыхнувшую в ней надежду и последовавшее за ней разочарование, и с подлинным драматическим мастерством проводит заключительную сцену разрыва со Смитом.

Весьма сложную роль репортера херстовской газеты Морфи с подкупающей простотой и непосредственностью ведет Ю. Алябьев, рисуя образ человека доброго по натуре, неплохого друга и товарища, человека, сознающего всю низость своей работы в газете Херста, но не нашедшего в себе сил пойти против течения, противостоять силе денег. Хорошо провел небольшую роль издателя Вильямса артист В. Путилин.

Похвалы заслуживает оформление спектакля, исполненное А. Максудовым. Особенно удались художнику декорации квартиры Смита. Неудачен стол в кабинете Макферсона, несущий определенную сюжетную нагрузку по пьесе, но неуклюжий, бесвкусный и резко контрастирующий со словами Макферсона о нем.

Ставил спектакль Ю. Алябьев. Он правильно понял суть пьесы, умело сценически воплотил ее. Жаль только, что режиссерская экспозиция ряда сцен в баре, вплоть до расстановки мебели, напоминает некоторые сцены в квартире Смита. Непонятно, для чего стенографистка Мег загромождена негритянкой. Слишком статична вторая картина (сцена в баре). Неудачно музыкальное сопровождение и мало оправданы столь обильные объятия Гарри и Джесси в баре.

Пьеса Симонова — политически острое произведение, ярко освещающее художественными средствами международные вопросы. Постановка этой пьесы — экзамен идейно-художественного уровня театра. Этот экзамен коллектив театра успешно выдержал.

Постановка „Испанцев“ и „Русского вопроса“, прочно вошедших в репертуар театра, показывает, каких хороших результатов можно достигнуть вдумчивой работой над спектаклем, предъявлением высоких требований и к пьесе и к себе. И наоборот — провал ряда постановок и, прежде всего, „Мечты“, частично „Старых друзей“, свидетельство того, насколько неправильна и вредна поспешность в выборе и в постановке пьес. Кажется, после успеха „Русского вопроса“, пусть с опозданием, это в театре усвоили и теперь приступили к репетициям двух современных пьес — „Памятных встреч“ Утевского и „За тех, кто в море“ Лавренева. На этом новом курсе на современную пьесу театр имеет все данные рассчитывать на успех.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Содык Каландар. Мы на Урале. <i>Повесть. Продолжение</i> ;	1
Кырк Кыз. Кара-калпакский эпос. <i>Отрывок. Перевела С. Сомова</i>	15
Владимир Мильчаков. Рождение офицера. <i>Рассказ</i> ;	27
Сергей Данилов. Каспий. <i>Стихи</i>	38
Н. Мельников. Школа жизни	41
Ирина Мэй. Джейхун, безумная река ;	46
М. Ляховский. Хлопкороб Тилля Туранов. <i>Очерк</i> ;	62
Рабиндранат Тагор. Обучение птицы. <i>Сказка</i> ;	70
Неотвязное горе. <i>Рассказ</i>	73

СТАТЬИ

Д. Вифлеемский. Маяковский в борьбе за социалистическую поэзию . .	76
Г. Давыдов. Первые итоги сезона ;	82

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЬТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕИХЗАДЭ.

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 23/IV 1947 г. Печ. листов 5,5. Тираж 400 экз.
Цена 5 р. Зак. 1162 Р 02694

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8

Цена 6 руб.